

**ВЕРА ЗАСУЛИЧ**

**Воспоминания.**

## Предисловие.

В. И. Засулич была одной из замечательнейших и известнейших в истории русского революционного движения женщин. На этом пути ей приходилось встречаться с крупнейшими людьми нашего революционного прошлого, — от Нечаева до Ленина. Ряд переломных моментов в истории этого прошлого связан с ее именем. Ее выстрел в Трепова, потрясший в 1878 г. все русское общество и сделавший ее имя всемирно известным, знаменовал собою начало перехода русского революционного народничества от пропаганды к террору. В расколе этого народничества на два лагеря — на «Черный Передел» и «Народную Волю» — В. И. Засулич непосредственного участия принимать не могла, так как к этому времени она находилась уже не в России, а за границей, в эмиграции; однако, В. И. не осталась равнодушной зрительницей событий: узнав о расколе, она спешит примкнуть к «Черному Переделу». Немного времени спустя она, вместе со своими товарищами: Плехановым, Аксельродом, Дейчем и Игнатовым, организует группу «Освобождение Труда», положившую начало новому направлению нашей революционной мысли и практики — русскому марксизму. Когда в самом начале 1900-х годов началась борьба против экономизма, временно завоевавшего себе господство в рядах русской социал-демократии, мы находим В. И. Засулич, вместе с Плехановым и Лениным, в редакции «Искры», вынесшей на себе всю тяжесть начавшейся борьбы. В последующем расколе социал-демократии на две фракции, — большинство и меньшинство, — и в той борьбе, которую они так долго и так упорно вели между собою, В. И. Засулич, примкнувшая к меньшевизму, являлась деятельной участницей. Крепко связавшая себя с меньшевизмом и откатившаяся к ликвидаторству и социал-патриотизму, В. И. Засулич, доживши до великих Октябрьских дней, враждебно отнеслась к победе русского пролетариата и к завоеванию им государственной власти. Она оказалась неспособной понять великое историческое значение этого переворота.

Человек, прошедший такой длинный и интересный жизненный путь, как В. И. Засулич, и подобно ей постоянно находившийся в центре крупнейших исторических событий, — много мог бы рассказать о том, чем он был свидетелем, и о тех людях, с которыми ему пришлось встречаться. Друзья В. И. неоднократно пытались убедить ее приняться за писание воспоминаний. Однако, В. И., придерживавшаяся слишком скромного мнения о своем литературном таланте, не соглашалась исполнить просьбу своих друзей. Правда, под конец жизни она взялась за перо и начала писать автобиографию, но вскоре почему-то бросила эту работу, оставив нам лишь ряд незаконченных и несвязанных хронологически между собою набросков. Помимо этих недоработанных отрывков, в литературном наследии, оставленном нам В. И. Засулич, мы находим несколько статей, посвященных нашему революционному прошлому и написанных главным образом на основании ее личных воспоминаний. Эти статьи по богатству заключающегося в них исторического материала до сих пор сохраняют свое значение. Разбросанные по различным сборникам и журналам, частью малодоступным в настоящее время читателям, эти, статьи вполне заслуживают переиздания. Настоящая книжка, заключающая в себе все написанное В. И. Засулич по истории нашего революционного движения должна облегчить читателям ознакомление с этой частью ее литературного наследия.

В эту книгу входят прежде всего те автобиографические наброски В. И. Засулич, о которых упоминалось выше и которые впервые были опубликованы в 1919 г. в № 14 «Былого». Ввиду того, что эти наброски не связаны тематически между собою и охватывают ряд совершенно различных и разновременных событий, в настоящем издании они разделены на четыре части: 1) Детство и юность, 2) Воспоминания о С. Г. Нечаеве, 3) Из воспоминаний о покушении на Трепова и 4) Владимир Дегаев. Кроме того, в настоящую книгу вошли следующие, написанные в различное время статьи В. И. Засулич: «Нечаевское дело» (опубликовано первоначально в № 2 сборн. «Группа Освобождение Труда»), Д. А. Клеменц (журнал «Наша Заря», 1914 г., № 2), Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк) («Работник», 1896 г. №№ 1 и 2, Женева) и «Вольное Слово и эмиграция» («Современник», 1913 г. № 6).

## Содержание.

Предисловие.....	2
Содержание.....	3
Детство и Юность.....	5
Нечаевское дело.....	10
Воспоминания о С. Г. Нечаеве.....	35
Из воспоминаний о покушении на Трепова.....	39
Д. А. Клеменц. (Личные воспоминания).....	42
Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк).....	49
«Вольное слово» и эмиграция.....	59

## Детство и юность.

1909 г. Лето.

Достала перевод романа Уэльса. Так как давно не читала по-английски, то для упражнения, кроме заказанного романа купила еще несколько книжек того же автора. Увезла их в свою избу на хутор Греково. Сидела под вечер у себя на крыльце и читала «The time machine» («Машина времени»). Солнце за рощей должно быть совсем зашло, темно читать; положила я книгу, села на машину и поехала в прошлое. Нет, здесь неинтересно, — близкое прошлое совсем неинтересно, в более далеком поднимутся леса зеленые, дремучие, но и только. Вот, если в Бяколове ... И мгновенно из-под Тулы я перенесла машину в Гжатский уезд, в помещицью усадьбу, и уехала на пятьдесят лет в прошлое, — последний год жизни старого дома; его перестроили как раз накануне освобождения. Вокруг меня тогдашнее Бяколово со всеми красками, звуками, со всеми его обитателями: Мимины, дети, собаки, кошки... У меня всегда была плохая память на имена, но никогда не забывала я и теперь помню, как звали всех многочисленных собак и ...

Она в самом начале XIX века воспитывалась в Сиротском институте. Попала туда, кажется, с самого рождения, никакой семьи, во всяком случае, у нее никогда не было. Всю жизнь прожила она в чужих богатых домах, воспитывала чужих детей. Я была первым ребенком, отданным в ее полное распоряжение, существовавшим, — в Бяколове, по крайней мере, — специально для нее. Еще до моего рождения она уже лет 10–12 прожила в Бяколове, воспитывала теток и дядю. Когда умер их отец, — мать умерла еще раньше, — старшей тетке было лет 20, самой меньшей — 14, дяде — 16.

Мимины были нужны, — этого декорум требовал, а она поставила условием, чтобы в доме был ребенок. Воспитание Луло (меньшая тетка) кончается, а она не может оставаться без дела. Таким образом я попала в Бяколово.

Взялась она за меня, должно быть, очень ретиво.

Я рано помню себя, но не помню, когда училась читать и писать по-русски и по-французски; понимать по-французски я тоже начала с незапамятного для меня времени. Говорили, что обучить меня всему этому и нескольким стихотворениям в прибавку, а также — молитвам, она ухитрилась, когда мне было три года.

Розги в Бяколове были не в употреблении, — я не слыхала, чтобы там кого-нибудь секли, а я, — говорили, — была в то время очень мила и забавна, а испортилась позднее. Секла она меня, должно быть, просто для усовершенствования, слегка. Я не помню ощущения боли, но помню, что операция должна была производиться в бане на лавке. Меня на эту лавку укладывают, а я изо всех сил подвигаюсь к краю и свертываюсь вниз, а меня опять укладывают, и так без конца.

Одна из теток вышла замуж, пошли свои дети, — бяколовцы. Ни в Мимине, ни во мне с ней вместе надобности уже не было, тогда, должно быть, я и испортилась.

Мимины, возможно, любила меня по-своему, но тяжелая это была любовь. Вдвоем со мною она все что-то говорила, говорила по-французски, по большей части, что-то тяжелое, неприятное, иногда страшное. Если я норовила отойти от нее, она возвращала меня на место. Когда она говорит со мной, она исполняет свой долг, а мой долг — слушать, пользоваться ее наставлениями, пока она жива. Скучное я пропускала мимо ушей, но страшное запоминалось. «Тебе хочется убежать; пожалеешь, когда я умру. Захочешь тогда увидеть Миминочку, придешь на кладбище: ручей, две-три березы, да еще искренние слезы — вот монументов

красота, — других мне не нужно. Придешь, увидишь трещину в земле, заглянешь в нее, а из земли на тебя взглянет нечто отвратительное, ужасное: череп с оскаленными зубами, а Миминочку уж не увидишь».

Часто вместо нотаций она говорила стихи: «Где стол был яств, там гроб стоит... Надгробные там воют лики». По-своему, для того времени, она была очень образована. Даже стихи иногда сочиняла. Гроба я никогда не видала, но знала, что страшный, длинный, а над ним рисовало воображение — «лики» одни, без туловищ, темно-красные, с разинутыми ртами и воют «ууу». К страшному я причисляла и оду «Бог», которую она так часто декламировала, что невольно лет 6-ти я знала ее наизусть, запомнив из нее отрывки, и ночью, если я не успевала заснуть прежде, чем захрапит Мимина, этот мудреный бог «пространством бесконечный — без лиц в трех лицах божества», вместе с черепом, ликами и другими страхами, против воли повторялся в голове и мешал мне заснуть.

В том же роде знала она и французские стихи: «O, toi, qui deroulatous les cieux, comme un livre»; потом я открыла, что это стихи Вольтера. Сомневаюсь, знала ли она, что это его стихи. Что на свете есть безбожники, вольтерьянцы, это я от нее тогда еще слыхала. Тогда она переживала, вероятно, трудное время: из сравнительно почетного положения (я еще помню, когда кушанья за столом начинали обносить с нее), она чувствовала, должно быть, что спускается постепенно в положение ниже гувернантки, — в положение приживалки.

Ей было под 60, глаза слабы, так толста, что, при маленьком росте, была почти шарообразна. Поздно искать нового места, а поговорить об этом было не с кем, кроме меня. Приживалка до самой смерти. Подумывала, вероятно, о смерти, хотя недолго, — прожила еще лет 35, — в конце 80-х годов была жива.

Любовь, вероятно, выражалась и в том, что она не хотела, чтобы я любила теток. Она не раз с чувством говорила мне: «мы здесь чужие, нас никто не пожалеет». Я живо помню, что именно такие речи меня сильно огорчали, с этим я мириться не хотела, не хотела быть чужой. Помню даже, что вела упорную войну с мальчиком, казачком, который, высунув голову из передней, усиленно шептал; если кто-нибудь из старших оглядывался, голова быстро исчезала, чтобы опять появиться. Не слышно было ничего, только видно, что он шепчет: «Верочка Засулич», и также шепотом я с озлоблением возражала в рифму: «неправда, — Микулич, Микулич!».

Но чем дальше, тем большее множество вещей твердило мне, что я чужая — не бяколовская. Никто никогда не ласкал меня, не целовал, не сажал на колени, не называл ласковыми именами. Прислуга, при малейшей досаде на меня не ...

Лет 11 должно быть мне было, когда в Бяколове, в первый раз появилось евангелие, — новенькая книга, без переплета и даже не разрезана. Была, вероятно, и прежде, но по-славянски, и ее никто не читал. Теперь, великим постом, я каждый день должна была прочитывать вслух (слушали все тетки, Мимина, дети и даже няньки) по главе или по странице — уж я не помню, но только так, что в первый день читалась глава из одного евангелия, затем из второго, третьего, четвертого, а на пятый опять возвращались к первому, с таким расчетом, чтобы главы, начиная с тайной вечера, остались на последние дни страстной недели.

До этого на содержание религии я не обращала внимания, не думала о ней. Доставляла она мне изредка удовольствие, а больше скуку. Нескольким коротким молитвам Мимина меня еще трех лет выучила, потом прибавилось несколько других подлиннее. Мое дело было дважды в день протрещать их перед образом, как можно быстрее.

К семи годам (к первой исповеди) выучила «Верую» и знала краткую священную историю в вопросах и ответах, при этом — креститься и кланяться, а кончивши, поклониться в землю и убежать. Чуть не половину фраз я в них совсем не понимала и не интересовалась понять. Под праздники у нас часто служили всенощную. Это было довольно скучно, — ничем развлечься не было возможности: наблюдали, чтобы стояли смиренно, время от времени крестились. Я обыкновенно с нетерпением ждала чтения евангелия: во-первых, скоро конец, значит, а во-вторых, развлечение. Мы, дети, должны были тогда подойти к священнику. Меньшие впереди, а я сзади. Он всех накрывал епитрахилью, которая и ложилась на мою голову, как самую высокую.

«Пастырь добрый, душу свою полагает за овцы своя, а наемник божий нет». И я видела, как по полю, куда то в темноту, длинными ногами, бежит «наемник», но в чем тут дело, я вовсе не интересовалась. Пока стояла с покрытой головой, мелькал вопрос — в чем тут дело: как пастырь «полагал душу» и куда бежит наемник? Но окончилась всенощная, кончался и интерес. «Больших» я никогда и ни о чем не спрашивала: выйдет непременно так, что разбранят. Мимины рада была бы вопросу и ответила бы длинно, но в конце концов «добрым пастырем» оказалась бы она, а я овцой, — это в лучшем случае, а то и «наемником», который всегда готов убежать, когда его учат и хотят ему добра.

Ездить к обедне — это была радость. Церковь за 5 верст, брали не часто, и то только летом. Возили меня и в гости к соседним помещикам, где были дети, ездили и в лес, но все это после обеда, а в церковь утром. Все выглядит совсем иначе, и солнце, и небо другие, и едешь в нарядном платье и соломенной шляпке. А в церкви по уголкам иконы, цветные стекла, ладан так красиво окрашивается, попадая в полосу света, и синие, желтые, зеленые пятна и странно перекрашивают платки на головах баб. Там не успеешь соскучиться, как уже поют «иже херувимы». О святой и страстной и говорить нечего — это самое счастливое время в году. Но с богом, с религией — это все-таки в моей голове почти не связывалось в.

Но собственной воле я твердила: «крест на мне, крест на мне» ... когда боялась в темноте; тут Мимины молитвы не годились, а этой меня выучила горничная девочка, которая также боялась и уверяла, что она помогает.

Были и еще случаи, когда я бросалась молиться, но уже своими словами. Это, когда, по моему мнению, меня обвинили, разбранили напрасно: взволнованная в слезах, вся дрожа, я становилась в пустой комнате перед образом и шептала, шептала, всхлипывая.

Я не помню, чтобы ждала я себе от этого какой пользы, не думала я, что бог как-нибудь за меня заступится, это были просто заверения в своей «невинности» «всеведущему», чуть не упреки: «ведь ты знаешь, ведь ты знаешь!.. Разве я, когда?» и т. д.

Раз как-то, помню, попалась: какая-то из теток пошла за мной — должно быть, найдя еще что-то прибавить к нотации, — и застала, что я что-то шепчу перед образом. Если бы я сказала, что именно я шептала, — это, думаю, произвело бы благоприятное для меня впечатление. Но я, конечно, не созналась; на вопрос, что это я шепчу, ответила: «так», и получила, разумеется, добавочную нотацию: «шептать какие-нибудь глупости перед иконой не смей, к богу, следует обращаться только с молитвой».

Начала я вслух читать евангелие с неудовольствием. Сама бы я прочла, — я читала в это время решительно все, что попадалось под руку, — но вслух, при

больших... Понемногу, однако, содержание книги начало привлекать меня. Он добрый, хороший. Он сразу совершенно отделился для меня от непонятого, скучного, немного страшного Мимининого бога, для которого надо есть постное, бормотать молитвы. Он добрый, хороший, простым понятным для меня образом, и я ведь знала, что в конце его убьют, с нетерпением и каким-то страхом стала я ждать этих глав. В это же время в детском журнале, который получал соседний помещик и присылали мне на прочтение, было помещено стихотворение Мея «Слепорожденный». Я его списала и выучила. Оно также слилось с впечатлением евангелия. Все считали слепорожденного самым дурным. «Немало грубых разговоров, намеков, брани и укоров еще ребенком вынес он». А христос его пожалел, подошел к нему и исцелил, и прокаженные были самые печальные, все их от себя гнали. Воскресил девочку, — я в воображении расписывала подробности.

Не знаю, для чего записала Мимина евангелие в промежутках между чтением, но несомненно, что таким образом книга произвела гораздо большее впечатление, чем если бы я сразу прочла ее. Не с отвлеченным, неведомым богом произошло для меня все это: ночь в Гефсиманском саду, «не спите, час мой близок», просит он учеников, а они спят..., и вся эта дальнейшая мучительная история. Я несколько недель жила с ним, воображала его, шептала о нем, оставшись одна в комнате. Всего больше волновало меня, что все, все бежали, покинули, и дети тоже, которые встречали его с пальмовыми ветвями пели осанна. Они спали, должно быть, и не знали. Я не могла не вмешаться: одна девочка, хорошая, дочь первосвященника, слышала, как говорили, что его схватят. Иуда уже выдал, — будут судить и убьют. Она мне сказала, мы с ней побежали и созвали вмиг детей: «Послушайте только, что они хотят сделать: его, его убить! Ведь лучше его на свете нет». Воображаемые дети соглашались. Понятно, мы бросились бежать по саду, прибежали, но дальше ничего не выходило. Не смела я ничего дальше выдумывать без его дозволения и еще меньше смела говорить за него. Это не страх был, а горячая любовь, благоговение что-ли; я знала, что он бог, — тоже бог, как и его отец, но он гораздо лучше, того я не любила. Молиться христу, ни за что бы я не стала. Приставать к нему с моими жалобами! Не его заступничества просить мне хотелось, а служить ему, спасти его.

Года через четыре я уже не верила в бога, и легко рассталась я с этой верой. Жаль было сперва будущей жизни, «вечной жизни» для себя, но жаль только, когда я думала специально о ней, о прекрасном саде на небе. Земля от этого хуже не становилась. Наоборот. Одновременно с этим я определяла свою «будущую жизнь» на земле, и так она вставала предо мною бесконечная... В 15 лет и один год кажется огромным временем. А то единственное в религии, что врезалось в мое сердце, — христос — с ним я не расставалась; наоборот, как будто связывалась теснее прежнего.

Как началось это приобретение будущей жизни на земле? Постепенно, издавна, черта за чертой складывалась она предо мной, далекая еще, неясная в сияющем тумане, но несомненная для меня. Мне кажется, что лично меня толкало жадно ловить все, что говорило о каком-то будущем, мое отвращение от будущего, которое сулило мне сложившиеся общественные условия, о которых упоминали в Бяковоле: гувернантка. Все что угодно, только не это!

Еще до революционных мечтаний, даже до пансиона, я строила главные планы, как бы мне избавиться от этого. Мальчику в моем положении было бы, конечно

гораздо легче. Для его планов будущего широкий простор...

И вот этот далекий призрак революции сравнял меня с мальчиком: я могла мечтать о «деле», о «подвигах», о «великой борьбе» ... «в стане погибающих за великое дело любви». Я жадно ловила все подобные слова: в стихах, в старинных песнях: «скорей дадим друг другу руки и будем мы питать до гроба вражду к бичам земли родной», — в стихах иногда и там, быть может, где в мыслях автора было другое, находила у своего любимого Лермонтова и, конечно, у Некрасова.

Откуда то попалась мне «исповедь Наливайки» Рылеева и стала одной из главных моих святынь: «известно мне: гибель ждет того, кто» и т. д., и судьба Рылеева была мне известна. И всюду всегда вое героическое, вся эта борьба, восстание было связано с гибелью, страданием.

«Есть времена, есть целые века, когда ничто не может быть прекраснее, желаннее тернового венка». Он-то и влек к этому «стану погибающих», вызывал к нему горячую любовь. И несомненно, что эта любовь была сходна с той, которая являлась у меня к христу, когда я в первый раз прочла евангелие. Я не изменила ему: он самый лучший, он и они достаточно хороши, чтобы заслужить терновый венец, и я найду их и постараюсь на что-нибудь пригодиться в их борьбе. Не сочувствие к страданиям народа толкало меня в «стан погибающих». Никаких ужасов крепостного права я не видела, а к бедным я сперва поневоле, с горькой обидой, потом чуть не с гордостью сама себя причисляла, а что пока я живу, как богатая, это я своей бедой, а не привилегией считала...

Ни о каких ужасах крепостного права в Бяколове я не слыхала, — думаю, что их и не было. С деревней, впрочем, господский дом и не имел никаких сношений, кроме праздничных, так сказать. На дворе устраивалось угощение после жатвы. После каждой свадьбы нарядные «молодые» приходили «на поклон», но до хозяйства тетки совершенно не касались. Его вел Капиша, как звали его господу, и Калитой Васильевич, — для дворни и деревни.

Имение было из самих благоустроенных в округе. Большинство крестьян — на оброке, ходили на заработки в Москву, верст за 120–130. Главные доходы, кроме оброка, — скотный двор, конский завод, птицы, плодовый сад, оранжереи. Все это до деревни не касалось, а было на руках у дворовых, очень многочисленных; целая улица дворовых изб. Что с дворовыми отношения были недурные, доказательство, что все остались на своих местах, и хозяйство не изменилось и ничуть не сократилось; что не было никаких наказаний, это верно. Я знала бы об этом от дворовых ребят и, наверное, запомнила бы. Быть может, именно вследствие мягкости Капитоновского управления...

Легко рассталась я с Бяколовым. Я не думала тогда, что весь век буду вспоминать его, что никогда не забуду ни одного кустика в палисаднике, ни одного старого шкафа в коридоре, что очертание старых деревьев, видных с балкона, будет мне сниться через долгие — долгие годы... Я любила его и тогда, но впереди ждала и манила необъятная жизнь, а тут «сон кругом глубокий», и эта вялая жизнь не моя, ведь я на том и помирилась с ней, что согласилась, что я «чужая» ...

Этот год, семнадцатый год моей жизни, был полон самой напряженной внутренней работы: я окончательно взяла судьбу в свои руки...

## Нечаевское дело.

### I.

Каракозовское дело, конечно, займет в истории нашего движения гораздо более скромное место, чем нечаевское. Его подробная история, быть может, станет известной не раньше, как документы III отделения подвергнутся разработке.

Это был заговор дело, тайное не для полиции только, но и для окружающих его более мирных элементов, на которых старались действовать члены общества. Ишутин уговорил их в таком роде: наступит великий час, мы люди, обреченные; этот час называл прекрасной Фелициной. Судя по рассказам о нем, это был тип революционера, умевший разжигать настроение слушателей представлением о чем-то великом и таинственном. Как кружок, это общество существовало с 63 г.; члены его обучали в школе, имели 2 ассоциации и сообще устроенное общежитие. Во всяком случае, к осени 65 года это были уже заговорщики: члены принимались с клятвами, и в их среде успел уже даже образоваться раскол, более крайние составляли, так сказать, общество в обществе под названием «Ад». Целью его было, вернее шла в нем речь, об избиении царской фамилии, при чем крайние стояли за предварительную агитацию, пропаганду. Оно приговорило 17 чел. После выстрела Каракозова полиция напала на след этого заговора.

Система, как вести себя на следствии, в то время не могла даже и начать еще вырабатываться, люди, как видно, по большей части считали нужным на каждый вопрос следователей давать более или менее правдоподобный ответ, лживый, конечно, кроме нескольких предателей, — нашлись и предатели. Начались очные ставки, уличения во лжи, давались новые объяснения: запутались даже такие люди, как сами Худяков, Ишутин; и понемногу все члены без исключения были открыты: нелегальность тогда изобретена не была, дожидаясь ареста, спокойно оставались на своем месте; все были переловлены и посланы в Сибирь.

С тех пор о каракозовцах не было слышно: никто из них не выплыл в позднейшем движении, а они только и могли бы подробно рассказать о своем деле.

В последнее время появились воспоминания Худякова, но там подробно рассказано следствие, поскольку оно касалось... самого Худякова, о московском тайном обществе, из которого вышел Каракозов, его он едва касается. Он говорит, что это были люди энергичные, талантливые, выработанные, но все они скоро были изловлены и отправлены в Сибирь; на свободе были оставлены только люди, оказавшиеся, после подробнейшего рассмотрения самой муравьевской комиссией, вполне невинными, а, следовательно, уже действительно невинные. Опыта, традиции внести в новое движение они не могли, а также не могли составить ядра, вокруг которого группировались бы новые элементы.

«Что делать» Чернышевского продолжало перечитываться молодежью, но самый доступный легко исполнимый из являвшихся прежде вопросов на поставленный в заголовке романа вопрос — заводить ассоциации — уже не удовлетворял. В предыдущий период ассоциации, по большей части швейные, росли, как грибы, но большая часть из них вскоре распадалась, а некоторые кончались третейскими судами, ссорами. Заводились они по большей части женщинами, настолько состоятельными, чтобы купить: швейную машинку, нанять квартиру, нанять на первый месяц, пока не будут разъяснены им принципы ассоциации, двух или трех

опытных модисток. В члены набирались частью нигилистки, не умеющие шить, на горячо желавшие «делать», частью швеи, желавшие только иметь заработок. В первый месяц сгоряча все шили очень усердно, но более месяца шить по 8 — 10 час. в день ради одной пропаганды примером принципа ассоциации, к тому же без привычки к ручному труду, мало у кого хватало терпения. Шить начинали все меньше и меньше Мастерницы негодовали и сами начинали небрежно относиться к работе; заказы убывали. Лучшие работницы скоро покидали мастерскую, так как приходившиеся на их долю части дохода оказывались меньше жалованья, которое они получали от хозяина, несмотря на то, что основательницы по большей части отказывались от своей доли. Иногда дело кончалось тем, что мастерицы забирали себе машины и основательниц выгоняли из мастерской. Устраивались третейские суды. «Сами же постоянно твердили, что машина принадлежит труду», — защищалась бойкая мастерица перед таким судом, на котором мне случилось присутствовать. «А уж какой, а них был труд, как есть никакого; только, бывало, разговоры разговаривают!» Суд не признал, однако, мастерицу олицетворением «труда» и присудил машинку вернуть.

Также плохо шли и переплетные мастерские, хотя там менее сложный и не требующий долгой предварительной подготовки труд был более приспособлен к ассоциации.

В 69 году затишье, наступившее вслед за каракозовщиной, еще продолжалось во всей силе. Из людей 60-х годов иные сошли со сцены, другие куда-то попрятались, и зеленой молодежи, подъезжавшей из провинции после погрома, не было к ним доступа. Она оставалась совершенно одна; ей предстояло отыскивать дорогу собственными силами. Каракозовщина не оставила ядра, около которого она могла бы группироваться. Я говорю, конечно, о среднем уровне молодежи, затронутой разыгравшимся зимою 68–69 годов в Петербурге прологом нечаевского дела. Такая изолированность молодежи, отсутствие пропаганды в ее среде, отсутствие соприкосновения с людьми сложившегося миросозерцания, могущими помочь в разрешении вопроса: «что делать?», — приводило ищущую дела молодежь в тоскливое, тревожное состояние.

Те надежды, с которыми ехала она в Петербург, оказывались обманутыми. Начало 60-х годов облекло столицы, а в особенности Петербург, в самый яркий ореол. Издали, из провинции, он представлялся лабораторией идей, центром жизни, движенья, деятельности. В провинции между семинаристами и гимназистами седьмого класса, между студентами провинциальных университетов образовывались маленькие группы юнцов, решившихся посвятить себя «делу», как тогда многие выражались вкратце, или даже просто — «революции». А за выяснением, что это за «дело», что за «революция», начинали рваться в Петербург: там все узнаем, там-то выяснится. Дорвавшись, наконец, преодолевши иногда для этого, при крайней бедности большинства, величайшие затруднения, они являлись в Питер иногда целой группой, человек в 5–6, и начинали всюду толкаться, знакомиться, расспрашивать, но, натыкаясь везде, куда они могли проникнуть, на ту же шаткость и неопределенность понятий, на те же нерешенные вопросы, на «ерунду», от которой бежали из провинции, они скоро впадали в уныние, тревожное состояние. Но, после яркого, насильственно задавленного движения начала 60-х гг., чувствовалась просто потребность в каком-нибудь проявлении движения, так что, например, фразы: «Хоть бы студенческое движение что ли было!» можно было слышать еще летом, прежде чем студенты съехались.

## II.

Не знаю, кому первому пришла идея затеять студенческие волнения, вероятно, многим сразу в таких-то кружках, о которых я только что говорила, в особенности являвшихся в Петербург на второй год и уже успевших разочароваться в нем, идея студенческих волнений должна была встретить живейшее сочувствие. Конечно, это не «дело», не работа для «блага народа», не «революция», но хоть, «что-нибудь», какая-нибудь «жизнь». Уже в начале осени 1868 года во многих студенческих кружках можно было слышать, что к рождеству непременно будут студенческие волнения, что будут требовать касс и сходок. Кассам то, собственно, несмотря на крайнюю бедность, придавалось лишь второстепенное значение: добьемся их — хорошо, но если не добьемся — тоже хорошо; сходки привлекательны сами по себе.

Они, действительно, сами по себе, независимо от цели, должны были удовлетворить реальную действительную потребность в движении, в общественной жизни. Некоторые инициатору движения на сходки возлагали и другие, более определенные, надежды: на них ознакомятся между собою лучшие люди из молодежи, образуется и сплотится кружок из наиболее определившихся людей, выдвинутся и выработаются способные деятели.

Всю осень шла агитация, и в декабре, действительно, начались сходки. Собирались эти сходки на частных квартирах, всегда на разных. Иной раз, какая-нибудь зажиточная семья предоставляла по знакомству в распоряжение инициатора сходки свою залу, в которую и набивалось битком 2–3 сотни студентов. Иногда собирались и на студенческих квартирах, и тогда сходка разбивалась на две-три группы по числу комнат, так как в одной всем уместиться было невозможно. Всем приходилось, конечно, стоять, и теснота бывала обыкновенно страшная. На Рождестве сходки особенно участились. Собирались студенты из университета и из технологического института, но самый большой процент составляли медики. На сходки ходило также человек 10–15 женщин; женских курсов в то время не было, приходили просто женщины, сочувствовавшие движению студентов.

На самых больших и удачных сходках ораторы обыкновенно влезали поочередно на стул и оттуда произносили свои речи, вертевшиеся на первых порах на необходимости для студентов иметь кассы и право сходок. Никакое бюро при этом не выбиралось, а раздачей голосов заведовала группа инициаторов, достававшая также квартиры, оповещавшая о месте сходок и т. п.

В числе этих инициаторов был и Нечаев. Во всеуслышание он говорил редко; на стуле почти не появлялся воля его чувствовалась всеми. Он заботился о достаточном количестве ораторов, в которых, в начале особенно, чувствовался недостаток. С личностями, чем-нибудь выдвинувшимися, отличившимися, тотчас же знакомился, уводил к себе в Сергиевское училище, где он занимал место учителя, и сговаривался, о чем говорить в следующий раз.

Никакой тайны из этих сходок не делали, наоборот, на них старались затащить всех и каждого. На рождество несколько усердных пареньков взяли даже на себя обязанность, переписавши в конторах заведений адреса студентов I и II курса (остальные считались безнадежными, так как из них посетителей сходок не насчитывалось и десятка), обегать все квартиры и звать всех на сходки. Тем, кого не заставляли дома, оставляли записочки с адресом ближайшей сходки и с

несколькими упреками, зачем, мол, не ходит.

Сведения о сходках начали появляться даже) в газетах, а в одном фельетоне им было; посвящено одно довольно безграмотное юмористическое — стихотворение, кончавшееся такою любезностью:

«Ах надо, как надо  
Для этого стада,  
Для стара и млада,  
Лозы вертограда».

Полиции сходки тоже были не безызвестны, и на одной, например, многие из входивших слышали: как два полицейских у ворот пересчитывали посетителей: 91-й, 92-й и т. д. Но пока никого не тревожили.

В начале, когда речь шла о необходимости касс и сходок, никаких возражений не являлось, но как только заговорили о средствах для приобретения этих благ, начались разногласия. Группа инициаторов и часть студентов, склонявшаяся к ее мнению, высказалась за подачу прошения за подписями возможно большего числа студентов министру народного просвещения (иные высказывались за наследника, некоторые предлагали удовольствоваться на первый раз университетским начальством); если же прощение не будет принято или ответ на него последует неудовлетворительный, необходимо будет устроить демонстрацию, для которой тоже предлагались различные проекты — (от сходок и криков в аудиториях) до шествия толпой ко дворцу.

Противники этих проектов, главным оратором которых явился студент университета Езерский, возражали, что; коллективного прошения, конечно, не примут, за демонстрации же исключат и вышлют, что к тому же, если бы даже подписались под прошением все бывающие на сходках, все же их было, бы крошечное меньшинство, так как студентов в Петербурге несколько тысяч, а на сходки ходят лишь сотни; рассчитывать же на подписи таких студентов, которые боятся прийти, было бы глупо; словом, что таким путем касс и сходок не добьешься.

Сторонники демонстраций, — нечаевцы или «радикаль», как их начали называть в то время не совсем удачное название, только что введенное, приобретшее впоследствии право гражданства для обозначения членов революционных кружков), — возражали не столько опровержениями, сколько упреками в трусости, в неискренности, спрашивали: какой же путь могут они предложить с своей стороны для приобретения касс и сходок? Противники отвечали, уклончиво. На общих сходках и те, и другие, видимо, не договаривали до конца. На частных же собраниях, в кругу единомышленников, езеровцы говорили, что кассу можно устроить и без дозволения начальства; если не поднимать о ней большого шума, то на нее, наверное, посмотрят сквозь пальцы; сходки же можно заменить литературными, музыкальными и т. п. собраниями. И большинство, видимо, склонялось на сторону Егерского.

Нечаевцы же в своих интимных собраниях говорили, что, конечно, демонстрациями касс и сходок не добьешься, да их и не нужно, они только развратили бы молодежь, облегчив, ее положение, но что демонстрации нужны для возбуждения духа протеста среди молодежи.

С самым близкими, доверенными людьми Нечаев шел еще дальше и рисовал приблизительно такой план: за демонстрациями, конечно, последуют высылки на родину. Они отзовутся в других университетах, и оттуда тоже по высылают лучших студентов. Таким образом, к весне по провинциям рассыплется целая

масса людей недовольных, возбужденных и, следовательно, настроенных очень революционно. Их настроение, конечно, сообщится местной молодежи и главным образом семинаристам, а эти последние по своему положению почти не разнятся от крестьян, и, разъехавшись на вакации по своим родным селам, сольются, сблизятся с протестующими элементами крестьянства и создадут революционную силу, которая объединит народное восстание, момент которого приближается. (Это приближение момента и говорившими, и слушавшими принималось за аксиому, не требующую доказательств. Сомнение было бы принято за неуважение к народу: «Ведь он недоволен, обманут, так неужели вы думаете, что так вот он и станет сидеть, сложа руки?»).

Между тем, сходки принимали все более и более бурный характер, и многие из езеровцев уже перестали ходить на них. Становилось очевидным, что в прежнем виде движение продолжаться не может и должно или разрешиться чем-нибудь, или принять иной характер. Собралась еще сходка. В самом начале Нечаев взял слово и заявил, что уже довольно фраз, что все переговорили, и тем, кто стоит за протест, кто не трусит за свою шкуру, пора отделиться от остальных; пусть, поэтому, они напишут свои фамилии на листе бумаги, который оказался уже приготовленным на столе.

Группа инициаторов подписалась первая, а за ними бросились подписывать и другие. На листе стоял уже длинный ряд фамилий, когда послышались протесты, что это глупо, бессмысленно, что лист может попасться в руки полиции. Подписи прекратились; послышались даже требования уничтожить лист, но он уже был в кармане Нечаева.

На следующий день среди знакомых Нечаева разнесся слух, что после сходки его и еще двух студентов призывали к начальнику секретного отделения при полиции, Колышкину, который заявил им, что, если сходки будут продолжаться, они трое убудут арестованы и посажены в крепость. При этом прибавлялось, что Нечаев настаивает, чтобы сходки продолжались, что уступить перед такими угрозами было бы постыдно. Сходку действительно созвали, но после истории с подписями никто из езеровцев на нее не явился; оставшихся же верными насчитывалось не более 40–50 чел.

При таком меньшинстве нечего было и думать, конечно, о демонстрациях, и бедные радикалы добранили вволю езеровцев: «Консерваторы, мол, подлые, трусы этакие» — не знали, о чем и говорить. Первого слова ждали от инициаторов, конечно, и главным образом от Нечаева, но он не являлся, а вместо него прибежал его сожитель Аметистов, — адъютант, как шутя называли его некоторые а — и объявил, что Нечаев арестован: он рано утром, когда Аметистов еще спал, ушел из дому и с тех пор не возвращался, а перед вечером одна из его знакомых получила по городской почте странное письмо, в котором говорилось: «Идя сегодня по Васильевскому острову, я встретил карету, в которых возят арестантов, из ее окна высунулась рука и выбросила записочку, при чём я: услышал слова: Если вы студент, доставьте по адресу. Я — студент и считаю долгом исполнить просьбу. Уничтожьте мою записку». Подписи не было. В записку была вложена другая на сером клочке бумаги; карандашом было написано рукою Нечаева: «Меня везут в крепость, какую — не знаю. Сообщите об этом товарищам. Надеюсь увидаться с ними, пусть продолжают наше дело».

### III.

Арест произвел сильное впечатление. О Нечаеве взялось хлопотать его училищное начальство: он был на хорошем счету — очень строг с учениками и прекрасно вел дело. Но на вопросы училищного начальства получился ответ, что Нечаев не арестован, что даже распоряжения об его аресте никакого не было. За месяц перед этим Нечаев выписал из Иванова свою сестру, девушку лет 17. Простая, почти безграмотная, она просто обожала брата, гордилась им безмерно, и весть об его аресте приводила ее положительно в отчаяние. Она побывала у всевозможного начальства: в III Отделении, у коменданта крепости, у Кольшкина и на своем владимирском наречии просила «дозволить, бога ради, повидаться с братом». Ей всюду отвечали, что в числе арестованных его нету. Это возбуждало ужасное негодование: «Что за варварство — арестовать человека и не только не давать свидания, а даже отрицать, что его арестовали!». Такая таинственность производила сенсацию.

Об аресте Нечаева заговорили повсюду, пикантность его секретного похищения правительством скоро сделала из него какую-то легендарную личность. Усомниться в аресте никому и в голову не приходило, хотя близко знавшие его люди припоминали, что в последнее время он очень усердно занимался французским языком, несмотря на то, что, казалось бы, в такое горячее время ему было совсем не до пополнения своего образования; он продал также за неделю все свои книги. Но ведь он просто, во-первых, не приобрел бы популярности, да и студенческое движение, по всему вероятно, прекратилось, бы, а теперь была надежда что оно будет продолжаться; быть может, студенты за арест обидятся, и дело дойдет до протеста. Обидеться-то обиделись, но не совсем сильно: поговорили о том, чтобы просить университетское начальство, но оказалось, что Нечаев был записан только вольнослушателем, да и то на лекциях не бывал, так что протест против его ареста не состоялся.

Нечаев тем временем побывал проездом в Москве и, кое с кем познакомившись, проехал на юг, а оттуда морем за границу.

Между тем, сходки нечаевцев продолжались, но под влиянием таинственного ареста приняли другой характер.

На них уже не тащили всех и каждого, а если приводили новых лиц, то только коротких знакомых, о которых предупреждали заранее. Ни о кассах и сходках, ни о демонстрациях речей уже не говорилось. Для общих речей с влезанием на стул; и вообще уж не говорили, а рассуждали, разбившись на группы, и только, если в какой-нибудь из групп разговор сильно оживлялся, остальные примолкали и окружали ее. Говорили обо всяких более или менее запрещенных вещах, о предстоящих бунтах. Те, кому случилось быть очевидцем или слышать рассказы о бунтах в своей местности, рассказывали подробности, расспрашивали о каракозовщине, — мало кто знал об ней что-нибудь определенное, — пытались говорить и о социализме, и наивные же то были речи! Один рыжий юноша, напр., с жаром ораторствует перед группой человек из 10:

— Тогда все будут свободны, — ни над кем никакой не будет власти. Всякий будет брать, сколько ему нужно, и трудиться бескорыстно.

— А, если кто не захочет, как с ним быть? — задаст вопрос один юный скептик.

На нервном лице оратора выражается искреннейшее огорчение. Он задумывается на минуту.

— Мы упросим его, — говорит он, наконец, — мы ему скажем: друг мой, трудись,

это так необходимо, мы будем умолять его, и он начнет трудиться.

— Ну, если Ижицкий к кому пристанет, так уж он и самого ленивого упросит, — шутят товарищи.

Собирались теперь эти сходки аккуратно раз в неделю на одной и той же большой студенческой квартире на Петербургской стороне. Некоторые сходки начинались чтением какого-нибудь литературного произведения: читали сказки для детей Щедрина, новые стихи Некрасова, Тройку. Стихотворение: «Какое адское коварство, — ироническое обращение автора к бледному господину лет 19, — ты замышлял осуществить? Разрушить думал государство или инспектора побить?» — мы, помню, приняли на свой счет. И, действительно, все как раз подходило, начиная с возраста. Хотя было между нами несколько «стариков», — лет 22–23, но зато было много и 17-летних. Перед этим мы только что, протолковали о своего рода побиении инспектора, т. е. о студенческой демонстрации, а теперь начали понемногу переходить к разговорам о «разрушении» государства.

На одном из собраний было предложено устроить мастерскую, в которой студенты могли бы обучаться ремеслу. Необходимость этого мотивировалась, между прочим, тем, что перспектива диплома и карьеры развращает студентов. На первом и втором курсах жаждут движенья, с радостью бегут на каждую сходку, интересуются общественными делами, а как почувствуют близость диплома, так их уж ни на какую сходку и не затащишь. Потолковавши, решили устроить на первый раз кузницу и сейчас же сделали сбор с присутствовавших: кто внес рубль, кто и больше, и все обязались продолжать эти взносы ежемесячно. Всем очень нравилось иметь свое предприятие. Из неопределенного брожения начинало вырабатываться нечто вроде кружка. Запрещенных тем никаких у нас не было, но было несколько рукописей: «Письма без адреса», «Письмо Белинского к Гоголю».

Устроить кузницу было предложено технологу Чубарову, 10 лет спустя повешенному в Одессе. Он в это время собирался в Америку и уже взял паспорт, но ради кузницы согласился отложить свой отъезд. На следующем же собрании было доложено, что кузница устроена и несколько студентов уже постукивают в ней молотками. Так дело шло месяца три.

Между тем в середине марта от Целаева начали получать письма из-за границы. В первом из них рассказывалось, что «благодаря счастливой случайности» ему «удалось бежать из промерзлых стен Петропавловки» что он пробрался в Одессу, там снова был арестован, опять бежал и перешел, наконец, границу.

Письма стали приходиться одно за другим. «Как только устрою здесь связи — тотчас же вернусь, что бы меня ни ожидало, — писал он. — Вы должны знать, что пока я, жив, не отступлюсь от того, за что взялся... Что же вы, то там теперь руки опустили! Дело горячее... Здесь варится такой суп, что всей Европе не расхлебать. Торопитесь же, други, не откладывайте до завтра, что можно сделать сию минуту».

К одному из писем была приложена прокламация Интернационала на французском языке с надписью сверху по-русски: «Привет новым товарищам» или что-то в этом роде за подписью Бакунина. С каждым письмом упреки и жалобы на затишье в Петербурге становятся все настойчивее. Но, несмотря на его призывы, никто не находил возможным возвратиться к вопросу о демонстрации, которой он, очевидно, требовал.

Но как будто сама судьба позаботилась исполнить его желание: в апреле, вдруг, совершенно неожиданно и без всякой прямой связи с рождественскими сходками, разразились беспорядки. Началось в университете по какому-то совершенно частному вопросу насчет экзаменов, и одним из инициаторов явился Езерский.

Университет закрыли, и тотчас же. начались сходки в академии и технологическом. Нечаевцы] подняли на них вопрос о студенческих правах и касса. Ткачев с Дементьевой напечатали воззвание от студентов к обществу, в котором говорилось, что они, студенты, не желают дольше сносить унижительного полицейского гнета и просят защиты у общества. Воззвание было перепечатано некоторыми газетами. А от градоначальника появилось на него возражение, что, мол, ни под каким особым полицейским надзором студенты не находятся, а под таким же, как и все жители Петербурга. Академию тоже закрыли. Человек сто из всех трех учебных заведений было арестовано и рассажено по частям, а затем 68 выслано на родину.

В числе высланных оказались все посетители сходок на Петербургской стороне вместе с кузнецами. Это произошло на Страстной неделе, а на Фоминой полиция перехватила письмо Нечаева к Томиловой, его знакомой, либеральной вдове полковника, у которой жила его сестра. Томилову, сестру Нечаева, его сожителя Аметистова и еще нескольких личных знакомых Нечаева арестовали, прихватили кстати и братьев, и сестер, даже и не выдавших Нечаева. У Томиловой застали одну приехавшую из Москвы девушку Антонову; арестовали ее, а также ее жениха Волховского и ученицу, 14-летнюю девочку Успенскую и, насбивавши таким образом человек 15–20, посадили их почему-то в Литовский замок (никогда потом подследственных в него не сажали), т. е. на буквальный голод, и оставили там на целый год. Эту Надю Успенскую без смеха никто из Литовского начальства видеть не мог: «ах вы, государственная преступница! наш агитатор!». И, действительно, толстая девочка, на вид даже не 14, а 12 лет, школьничала... под кровать прячется, котенка наряжает. Исхудали все страшно, а Аметистов даже умер там. В Петербурге, с этими апрельскими арестами, связанными с нечаевским делом движение прекратилось.

Действие переходит в Москву.

#### IV.

В конце августа. Нечаев возвратился из-за границы и явился к приказчику книжного магазина Черкезова, П. Г. Успенскому, с которым познакомился под вымышленной фамилией еще зимой проездом из Петербурга за границу. В то время около Успенского и Волховского существовал целый кружок, вроде сильно распространившихся позднее кружков самообразования. Несколько членов кружка, знавших иностранные языки, распределили между собою главнейшие страны Запада и взялись за их всестороннее изучение. Не знавшие языков изучали Россию. Книжный магазин, бывший к услугам кружка, представлял все удобства для дела. Результаты своих трудов члены излагали потом на собраниях, на которые приглашались и посторонние. Апрельский погром расстроил этот кружок, выхвативши из него несколько членов. Успенский остался цел, но книжный магазин был с тех пор под надзором полиции, и туда то-и-дело являлись шпионы под самыми наглыми предложениями. Опасаясь поэтому поселить своего гостя в магазине, Успенский свел его в Петровскую земледельческую академию к своему знакомому студенту Долгову, что как нельзя лучше послужило тем планам, с которыми Нечаев явился в Россию.

Петровская академия была в то время в исключительном положении, и студентам жилось там неизмеримо лучше, чем в остальных учебных заведениях. Право

сходок, которого добивались петербуржцы, здесь не имело смысла: половина студентов жила на казенных квартирах в одном здании, остальные размещались в слободке, в нескольких шагах друг от друга; к их услугам был великолепный парк при академии, и сходки, если бы таковые понадобились, могли продолжаться там хоть круглые сутки. У них была общая кухмистерская, общая библиотека, которыми заведывали выборные от студентов, была и касса, считавшаяся, правда, тайной, но спокойно существовавшая, целые годы, насчитывая до 150 членов.

При таких условиях не было, конечно, никакой возможности вызвать чисто студенческие волнения или протесты, но зато, при сплочении студентов и зачатках организации, можно было смело рассчитывать, подчинив своему влиянию несколько выдающихся личностей, повести за собою очень многих. И для этого Нечаев попал в самые лучшие условия — сразу в самый центр академической жизни.

Долгов и его товарищи Иванов, Лунин, Кузнецов, Рипман составляли наиболее выдающийся и влиятельный кружок в академии. Они были на последнем курсе, и им оставалось всего несколько месяцев до выхода. У них были, как им казалось, выработанные убеждения и определенная цель впереди: окончивши курс, они устроят земледельческую ассоциацию и займутся также народным образованием. Они и теперь уже обучали грамоте всех жителей слободки, изъявлявших к тому какую-нибудь склонность. Лунин выработал даже проект артели странствующих учителей, в которых намеревались превращаться члены ассоциации в свободные от полевых работ месяцы.

Такие ассоциации еще не были испробованы, не потерпели неудачи, да и самые условия, их казались чрезвычайно привлекательными: производительный труд, жизнь в деревне, соприкосновение с настоящим «не испорченным» городской жизнью народом. По этим причинам земледельческие ассоциации составляли любимую мечту всего выдающегося в академии. Тоски, недовольства, незнания за что взяться, которые господствовали среди лучшей из зеленой молодежи Петербурга, здесь не замечалось. Занятия имели смысл, соответствовали мечтам, а потому занимались с увлечением, в особенности практикой, старались развивать в себе физическую силу, которой особенно отличался Иванов.

Нечаев предстал пред этим, кружком облеченный ореолом таинственности. Успенский рекомендовал его под именем Павлова, но сообщил при этом, что он скрывается, что ему грозит опасность. В то время такой человек был необычайным явлением: никто не скрывался; даже предвидя арест, его ожидали; на собственной квартире, — нелегальность изобретена еще не была. Пошли догадки: кто бы это мог быть? — и сразу пали на прогремевшего прошлой зимой Нечаева.

Спрашивать, однако, не решались и оставались при одних догадках. В разговорах незнакомец сообщал о вопиющих страданиях и революционном настроении народа и давал понять, что он только что исходил пешком всю Россию. Он много рассказывал о Нечаеве, — какая это была крупная личность и как преждевременно погиб, распространял даже печатный рассказ о том, как его везли в Сибирь и дорогой удушили; давал читать стихи, сочиненные в честь Нечаева Огаревым, где также упоминалось, что до самой смерти он остался верен борьбе.

Он поселился у Долгова, потом перешел к Иванову и несказанно поражал своих хозяев неимоверной энергией в труде. Каждый, день после обеда он отправлялся в Москву и возвращался поздно вечером. Потом всю ночь писал что-то, вычислял, просматривал какие-то рукописи и ложился, наконец, только перед утром. После

2–3 часов сна он вставал одновременно с ними и снова принимался за занятия.

Добродушные петровцы, привыкшие после дневных трудов покататься на лодке, бродить до окрестностям, а потом проспать часов 7–8, были поражены и очарованы. Таинственный незнакомец сделался для них необычайным существом, героем. С первого момента своего появления он сосредоточил на себе все внимание, все разговоры кружка, но сам мало говорил с ними.

Он занялся сперва Успенским, к которому Нечаев явился как знакомый, и на этот раз рекомендовался под настоящей фамилией. Успенский был для Нечаева очень подходящим человеком, — едва ли не единственным из членов будущей московской организации. Он раньше встречи с Нечаевым уже думал, скорее, мечтал о заговорах, о революции. «Я всегда был уверен, что мне предстоит в жизни нечто в этом роде, — писал он своей жене после приговора к 15-летней каторге; — не думал только, чтобы это случилось так скоро и в таких размерах». Он был страстный читатель, не пропускал ни одной книги, чтобы не заглянуть в нее. Перед отправкой в Сибирь он просил жену принести ему какую-то вновь вышедшую книгу. Та почему-то не принесла. «Так я и уеду, не прочтя книги, — писал он ей, — а вдруг на том свете меня спросят: читал ли ты такую-то книгу? Что я на это скажу? Ведь я сгорю со стыда!».

Эта шутка очень характерна для Успенского.

Несмотря на то, что по делам магазина ему приходилось знакомиться с массой людей, тем не менее он был застенчив с чужими и именно от застенчивости держал себя иной раз как-то ложно причудливо. Только перед немногими близкими друзьями он выказывал во всем блеске свой оригинальный ум, насмешливый и вместе склонный к ужасной идеализации. В книгах, в идее революции, — борьба, заговоры уже давно привлекали, его своим величием, поэзией, так сказать. Один из очень немногих членов московской организации, он заранее, еще до встречи с Нечаевым, обрекал себя на участь русского революционера. Но по собственной инициативе, без этой встречи, едва ли он скоро сделался бы заговорщиком; в его натуре не было элементов практического деятеля — ни сильного характера, ни знания людей, ни изворотливости.

С него Нечаев начал, предъявив ему документ, который гласил:

«Податель сего № 2771 есть один из доверенных представителей русского отдела всемирного революционного союза.

Бакунин». К бумаге была приложена печать с подписью: «Alliance revolutionnaire europeenne. Comite generale». Нечаев объяснил при этом, что «Alliance» принадлежит к Интернационалу и составляет притом самую революционную и влиятельную часть его.

Интернационал был тогда в апогее своей славы: отчеты о его конгрессах печатались даже в русских газетах, и Успенский сильно увлекался им. Затем рекомендация Бакунина, деятельность Нечаева в Петербурге; и его побег, — все это расположило Успенского отнестись к своему гостю с величайшим уважением и безусловным доверием. Заметивши произведенное впечатление, Нечаев сообщил; Успенскому, что прислан в Москву организовать ветвь Великорусского отдела общества «Народной Расправы». Это общество сильно распространено в Петербурге, на юге, по Волге, почти всюду, только Москва отстала. Здесь, правда, давно уже распространяется одна из ветвей общества, но слабо: мешает традиционный консерватизм Москвы, а между тем необходимо придать делу большую энергию, необходимо спешить. Озлобление народа растет не по дням, а по часам. Членам общества, действующим; в среде Народа, приходится

употреблять все силы, чтобы сдерживать его и, но допускать до отдельных вспышек, которые могли бы помешать успеху общего восстания. Восстания следует ожидать в феврале 1870 год. К этому сроку народ ждет окончательной настоящей воли и, обманувшись в своих ожиданиях, конечно, восстанет. В народе действуют и могут действовать только люди, вышедшие из его среды, но много дела, и чрезвычайно важного, предстоит также всем честным личностям из привилегированных классов. Они должны действовать на центры и парализовать энергию правительства в момент народного восстания. Для этого им необходимо сплотиться и быть наготове. Подготавливать, убеждать людей — дело совершенно бесполезное, напрасная потеря времени. Их следует втягивать, в организацию такими, каковы есть, и брать с них то, что можно.

Предсказанию всеобщего восстания непременно в феврале, 1870 года Успенский особенного значения не придавал, но всем фактическим сообщениям Нечаева доверил безусловно и об отсутствии обширного заговора узнал уже только под арестом. Грандиозная картина увлекала его сразу, и после двух-трех разговоров он стал сообщником Нечаева: получил на хранение привезенные из-за границы прокламации, разные рукописи и печать «Народной Расправы» с изображением топора и с надписью «19-е февраля, 1870 года». Ее предполагалось прикладывать к бланкам, на которых будущим членам общества предстояло полунать приказы «Комитета».

Уладивши с Успенским, Нечаев принялся, за Долгова и Иванова. Он расспросил их, — каждого в отдельности, — об их планах и намерениях. Те тотчас же рассказали ему о своей земледельческой ассоциации и народном образовании. Нетрудно было Нечаеву показать неосновательность таких планов: раз правительство узнает о существовании какой-нибудь ассоциации, оно закрывает ее, и нельзя же пахать землю тайно, а народным образованием людям, побывавшим в высших учебных заведениях, заниматься, запрещено. Что могли петровцы возразить на это? «А может быть, реакция и ослабеет?» «Может быть, правительство не станет преследовать земледельческих ассоциаций?» Нечаев осмеивал такие наивности и доказывал, что заводить ассоциации мыслимо, только опираясь на сильную организацию, которая всегда сумеет защитить своих членов. Такая организация существует, и им следует вступить в нее, но народное восстание так близко, что осуществлять свои планы им придется уже в обновленной России.

На вопросы Долгова и Иванова: откуда почерпает Павлов свою уверенность в близости народного восстания, тот отвечал, что может сослаться на людей из народа, принадлежащих к организации, а также на свои собственные наблюдения. Он сам до 17 лет был простым работником, а в настроении народных масс людям из народа открыто то, что незаметно для членов привилегированных сословий.

Затем шли сообщения о громадности организации «Народной Расправы» и об обязательности; для Иванова и Долгита присоединиться к ней, раз они стоят за благо народа и не желают быть зачисленными в ряды его врагов.

## V.

В то время слова «сын народа», «вышедший из народа» внушали совсем иначе, чем теперь; в таком человеке, в силу одного его происхождения, готовы были допустить, всевозможные свойства и качества, уже заранее относились к нему с

некоторым почтением. «Сыны народа» были еще тогда большой редкостью. В сколько-нибудь значительном количестве крестьяне и мещане по происхождению стали появляться в среднеучебных заведениях только после реформы. В 1869 году еще очень немногие окончили образование, и от них готовы были ожидать и нового слова, и всяких подвигов. Да и самый народ представлялся в то время в неизмеримо более мифическом свете, чем впоследствии. С тех пор изучение общины, раскола, всевозможные исследования, народного быта в нашей литературе, все семидесятые годы, наконец, со своим хождением в народ постольку познакомили с ним нашу интеллигенцию, что у нее сложилось теперь объективное, фактическое представление о народе, независимое от субъективных пожеланий и идеалов отдельных личностей. Но тогда, при отсутствии фактических данных, под внешнюю форму пахущего землю существа в сером кафтане и лаптях можно было подкладывать какое угодно внутреннее содержание. И не только можно, — для известной части интеллигенции это было неизбежно. Неведомый крестьянин играл слишком важную роль во внутреннем мире юноши | для грядущего «дела». От свойств и качеств этого крестьянина зависело все содержание сто дальнейшей жизни. Поэтому оставаться при одном голом незнании для такого юноши было немислимо. Ему волей-неволей приходилось строить, так сказать, гипотезы; о крестьянине, и строил он их, конечно, сообразуясь с тем идеалом человека, какой у него сложился. Для одного — это был прирожденный революционер, ежеминутно готовый схватиться за топор; для других — он обладал альтруизмом, справедливостью и мае-ton иных мирных добродетелен.

Таковыми именно юношами были и Долгов с Ивановым. Их представление о крестьянине не совпадало с сообщениями Нечаева, но ведь он, зато сын народа: ему лучше знать разыгралось воображение, и одна гипотеза легко заменилась другой.

Поверить на слово в существование несуществующего громадного заговора в то время тоже было много легче, чем впоследствии. С каракозовского дела прошло всего три года. Члены петровского кружка были уже в то время в академии (Кузнецову в 69 году было 23 года, Долгову и Иванову по 22), а ведь не знали же они о существовании общества, пока его члены не были арестованы. Нет ничего невероятного, что и общество «Народной Расправы» давно существует и распространяется, — только они то в первый раз наткнулись на его члена. Сперва Долгов, потом Иванов согласились поступить в общество и свели Нечаева со своими ближайшими друзьями, Кузнецовым и Рипманом (Лушин был в отсутствии). Уже заранее очарованные и подготовленные рассказами о Павлове, они тоже с первого же разговора дали свое согласие. Это, впрочем, было правилом Нечаева: сделавшим решительное предложение, добиваться окончательного согласия, по возможности, в один разговор, как бы длинен он ни был. Если человек колеблется, просит подумать — из него, наверное, не будет толку.

— Он Павлов так ловко ставит вопрос, что, отказавшись, пришлось бы назвать себя подлецом, — говорил Кузнецов про Нечаева.

Заручившись поочередно их согласием, Нечаев созвал их 20 сентября всех вместе и прочел им следующие общие правила организации:

«1) Строй организации основывается на доверии к личности. 2) Организатор (член общества) намечает пять-шесть лиц, с которыми переговорив одиночно и заручившись их согласием, собирает их вместе и составляет замкнутый кружок. 3)

Вся сумма связей и весь ход дела есть секрет для всех, кроме членов центрального кружка, куда организатор представляет отчет. 4) Труды членов специализируются по знанию местности, среды и т. д. 5) Каждый член немедленно составляет вокруг себя второстепенный кружок, к которому становится в положение организатора. 6) Не должно действовать непосредственно на тех, на кого можно действовать посредством других. 7) Общий принцип организации, — не убеждать, т. е. не выработывать, а сплачивать те силы, которые уже есть налицо, — исключает всякие прения, не имеющие отношения к реальной цели. 8) Устраняются всякие вопросы членов организатору, не имеющие целью дело кружков подчиненных. 9) Полная откровенность членов к организатору лежит в основе успешности дела».

По прочтении этих «правил» кружок считался основанным, и каждому из его членов назначены номера по порядку их приглашения: Долгов назывался № 1, Иванов 2-м, Кузнецов 3-м, Рипман 4-м. «Фамилии же ваши для организации не существуют», — заявил Нечаев. Кружок должен собираться раза два в неделю, и члены обязаны сообщать на этих собраниях о ходе своих занятий, а № 1 должен составлять протокол всего, о чем говорится на собрании, и передавать его Павлову, являющемуся по отношению к кружку представителем всей организации.

На следующем же собрании Иванов и Кузнецов заявили, что уже составили вокруг себя по полному кружку, — каждый из пяти лиц. Правила приема членов они целиком нарушили, и вместо того, чтобы переговаривать с каждым отдельно и сперва получить согласие, а потом уже сообщать что бы то ни было, просто созвали каждый из своих ближайших приятелей и рассказали им все, что сами знали. Оба были сильно увлечены близкой революцией и огромной организацией, к которой пристали, а всего больше — самим Нечаевым. Увлечение подействовало заразительно: все приглашенные за исключением названного Кузнецовым Прокофьева, согласились вступить в организацию, выслушали правила и получили №№. Завербованные Ивановым назывались: № 21-й, 22-й и т. д., а Кузнецовым: № 31-й, 32-й, т. е. к № организатора прибавлялось по единице. Первоначальному кружку было объявлено, что он повышается с 1-й степени на 2-ю и становится центром по отношению к вновь образовавшимся кружкам.

Протоколы их заседаний должны сперва доставляться ему, и уже с его замечаниями идти дальше в «Комитет», в первый раз выступивший теперь на сцену в качестве центра, которому кружок обязан безусловным повиновением.

Раз появившись, этот Комитет начал давать себя чувствовать на каждом шагу. Особенно заинтриговало вновь испеченных заговорщиков такое обстоятельство: через 2–3 дня после производства первоначального кружка в центральный Нечаев сообщил его членам, что от Комитета получено предписание произвести расследование: кто из [108] них нарушает правила организации и пробалтывается о ее делах лицами, к обществу не принадлежащим? Все отреклись. Пункт второй общих правил они, правда, нарушили, но были уверены, что Нечаеву-то, а тем более какому-то Комитету, узнать об этом неоткуда. Нечаев советовал лучше сознаться: у Комитета, мол, масса агентов — от него не скроешься, и, если бы факт не был верен, он не сделал бы предписания. Петровцы не сознавались.

По уходе Нечаева начали строить предположения, что бы это могло значить? Кузнецову и Иванову пришло даже в голову: уж не Долгов ли, в качестве № 1-го и составителя протокола, вздумал фискалить на них Нечаеву? Они принялись стыдить его. Но Долгов клялся, что не думал ничего говорить, что он и сам не безгрешен: попробовал привлечь Беляеву, и на ее вопросы рассказал ей все с мельчайшими подробностями, а она потом наотрез отказалась вступить в

организацию. Беляева была невестой Лунина и близкой приятельницей его товарищей. Она намеревалась вместе с ними работать в ассоциации. В это время она жила в Москве и лишь изредка показывалась в академии.

На другой день Нечаев снова уговаривал виновных сделать чистосердечное признание. Он и сам удивлялся той быстроте, с какой Комитет узнал об их проступках и сделал предположение, что, быть может, тут же в академии распространяется другая ветвь организации и что проболтался кто-нибудь из них именно ее члену, тот сообщил своему центру, а центр донес Комитету. Но члены кружка так и остались при своем заpirationстве. Комитет на этот раз оказался, однако, довольно снисходительным. Все наказание ограничилось присылкой Долгову синего бланка] с прописанным на нем строжайшим выговором за нескромность.

Петровцы недоумевали, и только в тюрьме Долгов узнал, что невольной доносчицей на него была Беляева: Нечаев познакомился: с ней в Москве, принял в организацию и запретил сообщать об этом товарищам. Члены должны, мол, знать свою пятерку да ими самими организованные группы и ничего более. Правило это соблюдается очень строго: «Вот Долгов, напр., состоит членом организации, но вам он этого не скажет». Беляева заспорила, что непременно скажет, что они с Долговым такие старые приятели, что он не сможет утаить от нее никакой тайны. А когда Долгов, действительно, рассказал ей все, что знал, она без всякого злого умысла похвасталась Нечаеву не навлекла таким образом на Долгова бланк с выговором.

В другой раз Нечаев явился в академию в офицерском костюме и сообщил в виде объяснения, что он прямо со сродки офицеров, куда иначе нельзя было проникнуть.

В том или ином виде подтверждения существования организации повторялись беспрестанно. В начале октября в академию явился даже ревизор от Комитета. Он предъявил свои полномочия, выразил желание присутствовать на собрании центрального кружка. Молча просидел весь вечер и уехал, даже не сообщив, остался ли он доволен или будет прислан бланк с выговором. Этот ревизор, положим, ничего общего ни с какими комитетами не имел, а был просто приезжий из Петербурга технолог Лихутин, согласившийся по просьбе Нечаева разыграть комедию, но петровцы этого не знали и начинали все сильнее и сильнее чувствовать себя под сплошным присмотром какого-то таинственного начальства.

## VI.

Вербовка, между тем, продолжалась. В Петровской академии Нечаев лично никого более не принимал, но каждому завербованному вменялось в обязанность привлечь своих ближайших товарищей, и в каких-нибудь две недели в кружках 2-й и 3-й степени состояло уже человек 40, т. е. все студенты, находившиеся прямо или косвенно под влиянием кружка Кузнецова и Иванова или, вернее, Лунина, который до появления Нечаева был самым влиятельным его членом.

Вернувшись в конце сентября в академию, Лунин тотчас же познакомился с Нечаевым и, поспорив с ним, наотрез отказался вступить в организацию; попытался отвлечь от нее и своих старых друзей, но, потерпев неудачу, бросил академию и уехал в Петербург.

Скоро оказалось, что у всех завербованных ближайšie товарищи тоже состоят в организации и делать становилось нечего. Все были под номерами члены

третьестепенных кружков даже под сотыми; собирались по пятеркам и писали протоколы заседаний. С этими протоколами членам высших кружков была постоянная возня: с них строжайшим образом требовались письменные доклады, а составлять их никому не хотелось, да и писать-то было нечего. Надо при этом помнить, что все они — и высшие, и низшие — жили в нескольких шагах друг от друга и помимо всяких заседаний виделись ежедневно по нескольку раз. Самым исправным составителем протоколов, да и вообще самым исправным членом оказался Кузнецов. Нечаеву он подчинился безмерно и изо всех сил старался, чтобы Комитет был им доволен. Кроме вербовки членов и писания протоколов, организации вменялось в обязанность распространять прокламации, и первую была роздана прокламация «Народной Расправы». Длинная, не особенно складная и очень кровожадная, она никому не нравилась и не помогала, а скорее мешала вербовать [118]. Когда об этом замечали Нечаеву, он отвечал, что зато она нравится людям из народа: те, мол, находят ее полезной. Розданы были также прокламации «бакунинская» и «нечаевская», в которых говорилось о петербургском студенческом движении и, наконец, «дворянская», не имевшая для студентов ни малейшего смысла. В ней «Рюриковичи» приглашались сбросить с себя иго вытеснивших их отовсюду немцев, чиновничества и купечества и снова явиться в прежней силе и славе. Приводили также многих в недоумение стихи Огарева «Студент», посвященные молодому другу Нечаеву. Воем, знавшим Павлова, казалось, что он не кто иной, как Нечаев, а в стихотворении, между тем, говорилось, что уже «кончил жизнь он в этом мире, в снежных каторгах Сибири». Вся эта литература рассылалась также по почте и в изобилии представлялась по начальству. Затем организация получила приказание собирать деньги с сочувствующих. И тут также самым деятельным и исправным оказался Кузнецов. Он был сын богатых купцов, и на этом основании ему было предложено делать сборы с купечества. Московских купцов он вовсе не знал, но желание угодить и не обмануть ожиданий было так сильно, что он вносил несколько раз по 200–300 руб. собственных присланных родными денег и записывал их как собранные с купечества.

В половине октября была создана новая, высшая ступень организации — «Отделение». Из кружков Петровской академии сюда были переведены два самых деятельных члена — Кузнецов и Иванов. В числе сотоварищей на своем новом посту они встретили, кроме Успенского и Беляевой, о которой было заявлено, что она переводится Комитетом на другой ветви, двух незнакомых лиц — Прыжова и Николаева. Прыжов был очень странным явлением среди этой юной компании. Человек за сорок лет, автор «Нищих на святой Руси» и «Истории кабаков», страстный исследователь народного быта, он в это время сильно лил и даже трезвый производил на многих впечатление человека больного, с расстроенными нервами. Через Успенского он познакомился с Нечаевым и пришел в восторг, когда тот рассказал ему свою биографию: до 17 лет едва знает грамоту и рисует вывески, а в 19 уж слушает лекции в университете и может цитировать наизусть «Критику чистого разума» Канта. «Сорок лет живу на свете, а такой энергии никогда не встречал!» — восхищался Прыжов и приписывал энергию происхождению Нечаева. «Вот что вырабатывается из детей народа, раз они поставлены в сколько-нибудь благоприятные условия!» — утверждал он.

Прыжова тоже записали в организацию и занумеровали. Нечаев составил даже около него кружок, на заседания которого тот, впрочем, никогда не являлся и никаких отчетов не представлял. Едва ли даже он ясно сознавал, что вдруг стал

заговорщиком. В уме Нечаева ему была назначена совсем особая роль.

Николаев был тоже существом особого рода. Крестьянский мальчик, кончивший свое образование в сельской школе, он находился под сильным влиянием учителя этой школы, Орлова, и по его просьбе отдал свой паспорт уезжавшему за границу Нечаеву. В тревоге за свою беспаспортность он провел всю весну в путешествиях из Москвы в свое родное Иваново (он был земляк Нечаева) и опять обратно в Москву, дотом летом отправился в Тулу и нанялся там в плотничью артель. В конце сентября он опять пришел в Москву и застал тут Нечаева.

Николаев уже раньше встречался с Нечаевым, слышался о нем от Орлова и теперь отдался ему всей душой. Он стал буквально его рабом, но рабом любящим, преданным, на которого можно положиться, как на себя самого. Повиновался Нечаеву и Кузнецов, повиновались почти все, но с теми требовалось быть всегда настороже и опутывать их целой сетью лжи и хитросплетений. С ним даже хитрить не было надобности: самые, казалось бы, нелепые приказания он свято исполнял, не задавал вопросов и ни на йоту не отступал от инструкций. И Нечаев воспользовался им вполне. Этот наивный мальчик с круглым детским личиком являлся у него поочередно то деятелем из народа, привезшим известие о тульских оружейниках, которых нет никаких сил удержать от восстания, то ревизором, то членом Комитета. Самому Николаеву было строго запрещено пускаться в разговоры, говорил за него Нечаев, он же разыгрывал свои разнообразные роли в строгом молчании, но, благодаря инструкциям, так успешно, что являлся пугалом для многих членов организации.

## VII.

Отделение заседало в Москве и начало свою деятельность с выслушания документа, носившего заглавие: «Общие правила сети для отделений». Эти правила были разделены на 12 пунктов. Первые 6 не представляют ничего особенного, но в пункте 7-м говорится: «Все количество лиц, организованных по „Общим правилам“, употребляется как средство или орудие для выполнения предприятий и достижения целей общества. Поэтому во всяком деле, приводимом отделением в исполнение, существенный план этого дела должен быть известен только отделению; приводящие его в исполнение люди отнюдь не должны знать сущность, а только те подробности, те части дела, которые выполнять выпало на их долю. Для возбуждения же энергии необходимо объяснить им сущность дела в превратном виде. (У Кузнецова и Иванова, бывших до этого момента членами кружка, организованного по „Общим правилам“, при чтении последней фразы должна бы мелькнуть мысль, что и им для возбуждения энергии сущность дела объяснялась в превратном виде.) Пункт 8-й. „О плане, задуманном членами отделения, дается знать Комитету и только то согласно оного приступается к выполнению. 9) План, предложенный со стороны Комитета, выполняется немедленно. Для того, чтобы со стороны Комитета не было требований, превышающих силы отделения, устанавливается самая строгая отчетность о состоянии отделения через посредство звеньев, которыми оно связывается с Комитетом“. (Повышение в чине ни к какому расширению прав, оказывается, не привело, а только усилило писание протоколов).

В последнем пункте говорится о необходимости устройства притонов, „знакомство с городскими сплетниками, публичными женщинами, с преступною частью

общества и т. д. “, о „распушении и собрании слухов “, о „влиянии на высокопоставленных лиц через их женщин “. „Этот документ, — прибавляется в конце, — опубликованию не подлежит “.

Тут же будет кстати привести и другой красноречивый документ, тоже не подлежавший опубликованию, — „Правила революционера “Они были, правда, известны» очень немногим из членов организации, и большинство познакомилось с ними лишь во время следствия, но зато они лучше всего другого, мне кажется, выясняют взгляды и деятельность самого Нечаева. Вот эти правила.

«Революционер — человек обреченный: у него нет ни интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени, — все в нем поглощено единым и исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью: революцией».

«Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь, с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью этого мира».

«Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает одну науку — разрушение. Для этого — и только для этого он изучает механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого он изучает денно и ночью живую науку: людей, характеры, положения и все условия настоящего общественного строя во всех возможных слоях».

«Цель же одна: беспощадное разрушение этого поганого строя.»

«Он презирает нравственность: нравственно для него все, что, способствует торжеству революции; безнравственно все что мешает ему.»

«Революционер — человек обреченный, он беспощаден и не должен ждать себе пощады. Он должен приучить себя выдерживать пытки. Суровый для себя, он должен быть суровым, и для других. Все изнеживающие чувства радости, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единой холодной страстью революционной. Для него существует одна нега, одно утешение — успех революции. Стремясь неутомимо и этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть и губить своими руками все, что мешает ее достижению. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность, увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщенье. Революционная страсть, став в нем обыденной, ежеминутной, должна в нем соединяться с холодным расчетом...»

«Другом и милым человеком для революционера может быть лишь человек, заявивший себя на деле таким же революционером, как и он. Мера дружбы, любви, преданности определяется полезностью этого человека...»

Далее разбираются отношения революционера к обществу, и в начале повторяются положения из первой части, только перевернутые в таком роде: «Он не революционер, если ему что-нибудь жаль в этом мире...». «Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные связи: он не революционер, если они могут остановить его руку» и т. д. Потом идет разделение общества по категориям: к первой принадлежат лица, обреченные на немедленное истребление; им следует вести списки в порядке их вредности. Вторая категория состоит из людей, которым временно даруется жизнь для того, чтобы они успели наделать побольше зла. Людей третьей категории, не отличающихся ни умом, ни энергией, а только богатством и связями, следует эксплуатировать.

Замечательно по своей откровенности определение пятой категории. К ней принадлежат: «доктринеры, конспиранты, революционеры, праздноголаголящие в кружках и на бумаге; их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед в практические головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих».

К этой-то пятой категории и причислял, вероятно, Нечаев всю увлеченную им молодежь, за исключением, быть может, Николаева. Что он сам был проникнут этими правилами (или они с него списаны?) и действительно ими руководствовался, — не подлежит сомнению, но зато члены его организации почти поголовно составляли более или менее полную противоположность нарисованному в правилах идеалу революционера и подлежали, следовательно, «бесследной гибели». Приводим целиком конец «Правил революционера», представляющий, так сказать, программу действия.

«У товарищества революционеров другой цели нет, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, т. е. чернорабочего люда. Но убежденное в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. Под народной революцией следует разуметь не регламентированное движение, по-западному, классическому образцу, которое, всегда останавливаясь перед собственностью, перед традицией общественного порядка и нравственности, ограничивалось лишь низвержением одной политической формы для замещения ее другой и стремилось создать так называемое революционное государство. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все традиции государственного порядка и классы России. Товарищество не намерено навязывать народу какую-бы то ни было организацию сверху».

«Будущая организация, без сомнения, выработается из народного движения и жизни. Но это дело будущих поколений. Наше дело — страшное, полное, беспощадное разрушение. Поэтому сблизаться мы должны прежде всего с теми элементами народной жизни, которые со времени основания Московского государства не переставали протестовать, не на словах, а на деле, против всего, что связано с государством: против дворян, чиновников, попов, против гильдейского мира и кулака-мироода. Мы соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и, единственным революционером в России. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача».

Если нарисованный в эти правила «революционер» мог встретиться в жизни лишь в виде редкого болезненного исключения, то заданная ему задача была уж и вовсе невозможна. На практике она должна бы свестись «ближайшим образом к разыскванию разбойничьего мира», но найти в Москве хоть одного разбойника было, конечно, немислимо. Потому-то, вероятно, в «правилах сети для отделений» «лихой разбойничий мир» заменяется уже более широким термином «преступная часть общества». Это было, конечно, выполнимое: ворами Москва всегда изобиловала, но все же добраться до них было нелегко, и едва ли членам организации удалось бы увидеть хоть одного жулика, если бы не Прыжов. Для своей «Истории кабаков и России» Прыжов исследовал всевозможные питейные заведения Москвы и знал такие притоны, куда в известные часы дня

или ночи собираются жулики, проститутки самого низшего сорта и тому подобный люд, имеющий причины скрываться от полиции. На этом основании сближение с преступной частью общества было отдано в специальное заведывание Прыжова.

Некоторые из членов организации, наслышавшись о революционном настроении народа, начинали просить и требовать, чтобы им дали возможность изучить положение народа, указали пути для сближения с ним. Енкуватов попытался даже поступить на фабрику, но его не приняли за студенческий костюм. Он решил тогда переодеться крестьянином и достать себе крестьянский паспорт. Но тут его и Рипмана, тоже выражавшего горячее желание познакомиться с народом, перевели в кружок Прыжова, чтобы изучать народ под его руководством. Тот постарался отговорить Енкуватова от его намерения: «Во время работы разговаривать некогда, — убеждал он его, — а если вам и удастся поговорить с товарищами, то только в кабаке, во время отдыха, так не лучше ли прямо начать с кабака? Результат будет тот же, а времени потратить меньше». Енкуватов согласился попробовать. Тогда Прыжов указал своим ученикам один кабак на Хитровом рынке и дал инструкции, как там держать себя. Но кабак произвел на студентов самое тяжелое впечатление: не только заговаривать, даже прислушиваться они не смели, замечая на себе недоверчивые, враждебные взгляды, а от водки и духоты кружилась голова. Наконец, одна проститутка, которую Рилман накормил обедом, сообщила ему, что его хотят ограбить, и он перестал ходить, а Енкуватов прекратил посещения после первого же раза.

Остальные члены отделения тоже имели специальные функции: Успенский остался хранителем всех печатных и писанных бумаг общества. В вербовке членов, сборе денег и раздаче прокламаций (он находил их плохими и глупыми) Успенский почти не принимал участия, но знал сущность дела несколько ближе к правде, чем остальные: тем предоставлялось думать, что Комитет находится тут, где-то поблизости и вмешивается во все мелочи, Успенский же думал, что он за границей и заведует лишь, общим ведением дел, предоставляя частности на личное усмотрение своих, «доверенных представителей». Нечаев намеревался, в случае отъезда, оставить его своим заместителем.

Заявленной функцией Николаева была деятельность в народе. Беляева предполагала поступить на открывшиеся тогда женские курсы и действовать среди женщин. Специальностью Кузнецова оставалось купечество, среди которого он так успешно вел денежные сборы. В заведывание Иванова, бывшего старшиной студенческой кассы и одним из администраторов столовой, была предоставлена академия.

Вместе с переводом в Отделение, Кузнецов получил приказание бросить Академию и перебраться в Москву, поближе к купцам. На одной с ним квартире поселился и Николаев. Нечаев сообщил при этом, что тот занят составлением обширного доклада Комитету. И, действительно, входя в комнату, Кузнецов наставлял Николаева за какими-то рукописями, которые тот при его появлении поспешно прятал. Кузнецов стал опасаться своего сожителя и старался как можно меньше бывать дома; ему все казалось, что тот следит за ним. Николаеву же Нечаев приказал переписывать прокламации, при чем запретил разговаривать с Кузнецовым и показывать ему, что именно он делает. Так они и прожили вместе недели три, недоверчиво поглядывая друг на друга и не говоря между собой ни слова.

Кузнецов в это время успел запутаться в какой-то безвыходный круг: по внешности он казался страшно-занятым, возбужденным, деятельным; в сущности,

же своей исполнительностью он навлек на себя, массу дел и поручений: переговорить с тем-то, достать то-то, привлечь того-то, и не был в состоянии выполнять их, но по слабости характера он не решался отказываться и, стараясь выкручиваться из затруднений ложными отчетами, путался все более и более.

Совсем иначе вел себя Иванов. На его обязанности лежало «направлять общественное мнение академии», устраивать литературные вечера, распределять студентов по квартирам таким образом, чтобы было побольше притонов, заводить знакомства и связи в окрестностях Петровского и т. д. и т. д.

Но со времени перевода в Отделение Иванов переменялся: он начал спорить и протестовать на каждом шагу; сразу же потребовал, чтобы вместе с ним и Кузнецовым в Отделение был переведен и Долгов, который ничем не отличился и даже не устроил кружка. Вопрос был представлен на решение Комитета, и, конечно, получился отказ. Живя в академии, он хотел присутствовать на всех заседаниях Отделения и протестовал, если они происходили без него. Письменных отчетов он вовсе не представлял, наложенных на него многочисленных обязанностей не исполнял и, в противоположность Кузнецову, никогда не делал вида, будто исполняет, а оспаривал их полезность или возможность и открыто заявлял, что делать пустяков и пытаться не станет. Нечаев начал обращаться с ним грубо; Иванов отвечал тем же. При каждом несогласии дело шло на разрешение Комитета, и резолюции всегда получались такие, какие хотел Нечаев. Иванов начал кричать против самого Комитета, высказывал сомнение в самом его существовании и не стеснялся выражать свое недовольство за пределами Отделения, сеять сомнение и раздражение в членах кружков академии. Словом, из деятельного помощника Нечаева он превратился в его противника, в тормоз для дела, в опасность, могущую легко разрушить всю спитую на живую нитку организацию.

Успенский и Кузнецов старались улаживать столкновения; борьба затихала по временам, чтобы снова разгореться при малейшем поводе. Какой ужасный исход предстоит ей, никому не приходило в голову.

В начале ноября общество внезапно увеличилось несколькими кружками. Студенты Московского университета, недовольные профессором Полуниным, решили не посещать его лекций. Университетское начальство нашло нужным вмешаться в дело. Произошла обычная студенческая история, и 18 человек было исключено. Несколько членов организации — неизменный Кузнецов, Черкезов и Рипман — были тотчас же откомандированы для знакомства с исключенными. От полунинской истории и всяких студенческих бедствий разговор переходил к положению народа, к близости революции, к обширной организации, раскинутой по всей России, и делалось предложение вступить в ее ряды. Благодаря возбужденному состоянию, согласие быстро давалось, читались общие правила организации, и, не успевши очнуться, студенты становились членами тайного общества.

Устроивши кое-как Москву, Нечаев решил предоставить ее на время собственным силам и заняться Петербургом, где ждал его страшный враг Негрескул, ведущий против него всю осень самую усиленную агитацию.

Человек лет 30, умный, образованный, имевший массу знакомых, он уже в прошлом году являлся противником Нечаева, стараясь, и не безуспешно, убеждать знакомых ему студентов, что все университетские истории представляют самую бесполезную растрату сил. Потом он встретился с Нечаевым в Швейцарии, поссорился с ним и, возвратившись в Россию, рассказывал всем и каждому, что

Нечаев — шарлатан, что арестован никогда не был, а вздумал разыграть на шаромыжку политического мученика, что его следует опасаться и не верить ему, ни в одном слове. Он писал также Успенскому, предостерегая его от Нечаева, но получил холодный ответ. Скипского же, второго приказчика в магазине, привлеченного Успенским в организацию, он-таки успел смутить, и тот, после поездки в Петербург, объявил, что не хочет иметь ничего общего с «Народной Расправой». Впоследствии Нечаев прислал Негрекулу из-за границы несколько прокламаций, но тот умер во время следствия, — у него уже и раньше развивалась чахотка.

Так как всю осень москвичи слушали рассказы о силе и величии Петербургской организации, то Нечаев в пояснение своей поездки показал им рескрипт Комитета, в котором № 2771 (Нечаев) осыпается похвалами и командировается в Петербург для образования девятого отделения из людей, участвовавших в студенческом движении, с которыми не могут справиться петербургские организаторы. В помощники же ему назначается Кузнецов.

Решено было ехать 20 ноября, а 19-го собрались в последний раз члены Отделения. Нечаев внес предложение наклеивать написанную им по поводу Полунинской истории прокламацию: «От сплотившихся к разрозненным» в столовой и библиотеке академии.

Иванов заспорил: библиотеку и столовую закроют, студентам нечего будет читать и негде будет обедать, — только из этого и выйдет. Нечаев настаивал. Спор принял очень резкий характер.

— Дело пойдет на разрешение Комитета — оборвал Нечаев.

Иванов возразил, что и по решению Комитета на наклейку прокламаций не согласится.

— Так вы думаете противиться Комитету? — вскричал Нечаев.

— Комитет всегда решает точь-в-точь так, как вы желаете, — отвечал Иванов.

Успенский поспешил свести спор на менее жгучую почву, предложивши на разрешение общий вопрос: имеют ли члены организации право требовать подчинения общего интереса частному, интересов организации интересам студентов академии? Кузнецов тоже вмешался и стал упрашивать Иванова уступить; тот замолчал.

## VIII.

На следующий день Нечаев уже собирался на вокзал, когда узнал, что Иванов был у Прыжова и говорил ему, что не желает больше слышать о Комитете, не отдает собранных им денег и устроит свою отдельную организацию.

Опасность была велика. Несомненно, что Иванову при его влиянии в академии не стоило бы никакого труда увести за собою большую часть кружков и расстроить опальные, открыв им глаза насчет Комитета и всего прочего.

Нечаев мгновенно решился и отложил отъезд. Дело было спешное; необходимо было как можно скорее покончить с Ивановым, а, между тем, он мог наверняка рассчитывать только на одного Николаева, — остальные требовали подготовки.

Он начал с Успенского и сперва предложил на его разрешение общий принципиальный вопрос: обязательно ли для общества устранять всеми зависящими от него способами являющиеся на пути препятствия? Ответ последовал, конечно, утвердительный. Это был любимый способ самого Успенского

решать спорные практические вопросы сперва в теории, в принципе и затем уже, — Нечаев знал это, — раз признавши что-нибудь в теории, Успенский не отступал перед практическим выводом, как бы ни был он тяжел для него. Когда первый вопрос был решен утвердительно, оставалось только доказать, что Иванов составляет препятствие. В этом не могло быть сомнения. Если теперь, оставаясь членом отделения, он не церемонится; с его тайнами, то, выйдя из организации и ставши к ней во враждебное положение, может кончить доносом.

— Но какое же имеем мы право лишать человека жизни? — сомневался Успенский.

— Это вы о подсудности, что ли? — возразил Нечаев. — Тут дело не в праве, а в нашей обязанности устранять все, что вредит делу, иных же способов сделать Иванова безвредным мы не имеем.

С Успенским вопрос был решен. Оставались Кузнецов и Прыжов. Николаев его не беспокоил: он будет делать то, что прикажут. Всего труднее было рассчитывать на повиновение Кузнецова. Остальные члены отделения были мало знакомы с Ивановым, для них он был лишь единицей в организации и вдобавок неприятной единицей, тормозившей дело и создававшей беспрестанные затруднения. Самолюбивый, раздраженный, вечно поднимавший споры; часто пустые и придиричivé, он показал им себя с самой невыгодной стороны. Для Кузнецова же Иванов был старым товарищем, почти другом, с которым он прожил много лет. Надеяться на согласие можно было, только рассчитывая на слабохарактерность Кузнецова и то обаяние, под которым держал его Нечаев.

И с ним также Нечаев, поставил сперва принципиальный вопрос — об устранении препятствий и затем перешел к тому, что препятствие заключается в Иванове. Смутно догадываясь, о чем идет дело, Кузнецов принялся уверять, что Иванова всегда можно уговорить, что он берется его успокоить.

— Нет! — возражал Нечаев, — необходимо покончить с этой историей; я уже дал знать Комитету, что ошибся в выборе Иванова, и он приказал мне порешить с ним. Кузнецов продолжал притворяться, будто не понимает значения этого «порешить». В своем ужасе он, как утопающий за соломинку, хватался за всякое промедление, мешавшее Нечаеву произнести роковое слово.

Тот, с своей стороны, не спешил высказаться, предоставляя это другим.

— Он хочет сказать, что Иванова нужно убить, — вмешался Успенский, которого раздражала эта уклончивость.

Прыжов выразил громкий протест против убийства и, ничего не слушая, вышел из комнаты. Продолжали говорить без него.

Кузнецов спорил, но по малодушию с общего вопроса перешел на частности.

— Убийство не выполнимо, — оно не может удасться, — говорил он.

— Выполнимо! — возражал Нечаев, — я принял Иванова, и на мне лежит ответственность за него, — если не удасться иначе, я просто пойду к нему вдвоем с Николаевым и задушу его.

Успенский возразил, что такое дело должно делаться всеми вместе.

Было уже поздно, и решили разойтись, чтобы на утро собраться у Кузнецова.

Рано утром на их с Николаевым квартиру, действительно, явились Нечаев и Успенский. Николаеву, который ни о чем не знал, было заявлено, что Иванов не повинуется Комитету и будет убит.

— А ты ступай в академию и посмотри, там ли он, — добавил Нечаев.

Не задавая никаких вопросов, не выказывая ни малейшего изумления, Николаев оделся и вышел.

Кузнецов опять попытался спорить, но теперь Нечаев не хотел уже ничего слушать и только грозно спросил:

— Не думает ли и он сопротивляться Комитету? — Кузнецов замолчал.

Плана убийства еще не было составлено. Нечаев вдруг вспомнил о гроте в парке Петровско-Разумовского. Этот грот теперь уничтоженный, был, действительно, очень удобен для такого дела, особенно зимою, когда нельзя опасаться встретить в его окрестностях каких-нибудь любителей уединенных прогулок. Он находился в самом дальнем конце парка, в нескольких шагах от пруда и отделялся земляным валом от огибающей парк дороги. Нечаев же придумал и предлог, под которым можно заманить туда Иванова: нужно сказать ему, что будут отрывать типографию. Слух о типографии, зарытой в окрестностях Москвы, действительно существовал, и Нечаев ее разыскивал.

Кузнецов попытался сделать еще одно безнадежное возражение:

— По дороге за валом ходят сторожа, они могут услышать борьбу и накрыть всех на месте.

Но Нечаев уже не слушал и занялся практическими приготовлениями: нужно было приготовить веревки, достать на крайний случай револьвер. Подошел и Прыжов. После полудня Николаев возвратился и сообщил, что Иванова в академии нет. Предположили, что он у Лау, жившего в Москве. Нечаев распорядился, чтобы Кузнецов, знавший адрес Лау, отправился туда с Николаевым, но в квартиру не входил, а дожидался на противоположном тротуаре и как только увидит, что Николаев выходит вместе с Ивановым спешил назад, чтобы известить остальных. Тогда Нечаев, Успенский и Кузнецов должны были отправиться в грот, а Николаев с Прыжовым — привести туда Иванова.

— Прыжов ненадежен, — шепнул Нечаев Николаеву перед уходом, — ты и за ним присматривай!

Через несколько времени Кузнецов вернулся и сообщил, что Иванов идет с Николаевым. Все поспешно вышли, оставив на квартире одного Прыжова. Ему было поручено сообщить Иванову об отрывании типографии, которая окапалась в гроте, но когда Иванов вошел и заговорил с ним, то он так волновался, что обрывался на каждом слове. Иванов, впрочем, не обратил на это никакого внимания, и тотчас же согласился ехать. Они сели втроем на извозчика и, доехав до Петровского, встали и пошли к гроту. В нескольких шагах от дороги им встретился Кузнецов. Он уже провел в грот Нечаева и Успенского, и был выслан навстречу остальным, так как ни Николаев, ни Прыжов дороги к гроту не знали.

Увидя Кузнецова, Иванов начал ему что-то рассказывать, но тот от волнения ничего не слышал. Он пошел вперед, но сбился с дороги и завел всех в лес. Уже сам Иванов заметил ошибку и нашел настоящую дорогу. Было около шести часов вечера, и уже смеркалось, когда подошли к гроту. Иванов шел впереди, Николаев, которому было приказано схватить в решительную минуту Иванова сзади за руки, старался не отставать от него. Около грота никого не было, Нечаев с Успенским ждали внутри, где было уже совершенно темно. Иванов вошел туда, Николаев следовал за ним и схватил его за руку. Тот вырвался и попытался к выходу, впереди остался Николаев и вдруг почувствовал себя прижатым к стене, а руки Нечаева сжимали ему горло. Он едва успел прохрипеть, что он Николаев. Иванов между тем, заметивши, наконец, что происходит что-то странное, выскочил из грота. Нечаев, бросивши Николаева, выбежал вслед за Ивановым, догнал его в нескольких шагах от грота и повалил на землю. Между ними завязалась борьба. Нечаев навалился на Иванова и схватил его за горло, но тот

кусал ему руки, и он не мог с ним справиться. Все остальные столпились в ужасе у грота и не трогались с места.

Нечаев крикнул Николаева, тот подбежал, но от волнения, вместо того, чтобы помогать, только мешал Нечаеву, хватая его за руки. «Револьвер!» — крикнул Нечаев. Николаев подал. Через несколько секунд раздался выстрел. Убийство было окончено.

Тело убитого обвязали веревками с кирпичами по концам и бросили в озеро.

На следующий день Нечаев с Кузнецовым уехали в Петербург.

— Вы теперь человек обреченный! — говорил Нечаев своему спутнику словами из «Правил революционера».

Кузнецов был, действительно, уже обречен на потерю не только веры в дело, но и своей революционной чести.

Убийство Иванова было ему не под силу, — оно его раздавило, уничтожило.

«Обреченной» была и вся организация. Рассылаемые, но почте прокламации в изобилии доставлялись в полицию и повел, наконец, к обыску в магазине Черкесова, который еще с весны находился под надзором. При первом обыске найдено было несколько прокламаций и какой-то список фамилий, в котором, между прочим, была фамилия Иванова. Магазин был закрыт, Успенский арестован.

Почти одновременно в пруду Петровско-Разумовского было найдено тело студента Иванова, убитого, очевидно, без цели грабежа, так как часы и портмоне оказались при нем. При нем же была его записная книжечка, а в ней тоже список фамилий, совпадавший с частью списка, найденного в Магазине. Там был сделан вторичный, очень тщательный обыск: отдирали половицы, сдирали обои, обивку с мебели и в одном укромном месте нашли, наконец, всю канцелярию общества: печать, всевозможные «правила», массу прокламаций, списки членов как по номерам, так и по фамилиям, всякие доклады, протоколы, сообщения и т. д. По списку, найденному еще при первом обыске, в академии производились аресты, и дано было знать в Петербург об аресте Кузнецова.

Петербург оказал Нечаеву самый холодный прием: многие избегали встречаться с ним, спешили выпроводить с квартиры, и он с трудом находил себе ночлеги. Но, несмотря ни на что, Нечаев бился изо всех сил, чтобы организовать хоть несколько кружков, и заваливал Кузнецова поручениями. Тот ходил всюду, куда его посылали, но, придя в какой-нибудь дом, забывал, что именно нужно сказать, что сделать. С самого дня убийства он был, как в бреду: ни мог ни спать, ни оставаться без движения.

Арестованный 2 декабря, он заболел и несколько недель пролежал в бреду и беспамятстве, но прежде потери сознания успел рассказать следователю об убийстве Иванова, каялся, плакал. Его подвергли подробному допросу, и он сознался во всем, рассказал все, что мог припомнить.

Сознались потом Успенский, Прыжов, Николаев, Долгов, сознались почти поголовно. И чем сильнее был замешан человек, тем полнее сознание. Дело раскрылось в таких мельчайших подробностях, в каких никогда уже не раскрывалось ни одно из последующих.

Внезапно явившееся вместе с арестом сознание, что ни Комитета, ни близости народного восстания, ни обширной организации — ничего этого не существует, а были только они одни, обманутые студенты, заговорщики по ошибке, действовало на арестованных подавляющим образом. То возбужденное, поднятое настроение, в которое они были искусственно приведены, мгновенно опало, и юноши очутились

ниже, чем были до своего соприкосновения с призраком революции. Немногие из членов организаций; оправившись потом, к немногим возвратилась опять прежняя бодрость и жажда дела.

Во время арестов Нечаев успел скрыться и бежал за границу. Выданный потом цюрихским правительством, он держал себя на суде истинным революционером. — Я не подданный вашего деспота! — заявлял он судьям и, когда его выводили, кричал: Да здравствует земский собор!

Заключенный в Алексеевском равелине, он умер в конце 1882 года и, как показывают сведения о нем, помещенные в «Вестнике Народной Воли», он до конца сохранил свою почти невероятную энергию. Ничего не забыл он за долгие годы одиночного заключения, ничего не забыл и ничему не научился. До самого конца он сохранил глубокое убеждение, что мистификация есть лучшее, едва ли не единственное, средство заставить людей сделать революцию.

Московская организация была действительно, в буквальном смысле слова, делом «нечаевским», т. е. делом одного человека: все остальные участники были в его руках лишь материалом, мягким воском, разогретым ложью, из которого он лепил по произволу те фигуры, какие являлись в его воображении.

Поразителен контраст между Нечаевым и нечаевцами: они были обыкновенной русской радикальной молодежью первой поры нарождавшегося движения. Им предстояло еще определяться и вырабатываться в практических деятелей, и выработались бы они, конечно, не в членов деспотически организованного революционного сообщества, а, по всему вероятию, в нечто аналогичное возникшим почти одновременно, но в стороне от нечаевщины, кружкам пропагандистов.

Нечаев явился среди них человеком другого мира, как будто другой страны или другого столетия.

Нет достаточно данных, чтобы проследить, как сложился этот бесконечно дерзкий и деспотический характер и на чем именно выработалась его железная воля; несомненно, однако, что главнейшая роль принадлежит тутличной судьбе Нечаева. Самоучке, сыну ремесленника пришлось, конечно, преодолеть массу препятствий прежде, чем удалось выбиться на простор, и эта-то борьба, вероятно, и озлобила и закалила его. Во всяком случае, ясно одно: Нечаев не был продуктом нашей интеллигентной среды. Он был в ней чужим. Не взгляды, вынесенные им из соприкосновения с этой средой, были подкладкой его революционной энергии, а жгучая ненависть, и не против правительства только, не против учреждения, не против одних эксплуататоров народа, а против всего общества, всех образованных слоев, всех этих баричей богатых и бедных, консервативных, либеральных и радикальных. Даже к завлеченной им молодежи он, если и не чувствовал ненависти, то, во всяком случае, не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости и много презрения. Дети того же ненавистного общества, связанные с ним бесчисленными нитями, «революционеры, праздноглаголящие в кружках и на бумаге», при этом гораздо более склонные любить, чем ненавидеть, они могли быть для него «средством или орудием», но ни в каком случае ни товарищами, ни даже последователями. Таких исключительных характеров не появлялось больше в нашем движении, конечно, к счастью.

Несмотря на всю свою революционную энергию, Нечаевы не усилили бы революционных элементов среди нашей интеллигентной молодежи, ни на шаг не ускорили бы ход движения, а могли бы, наоборот, деморализовать его и отодвинуть назад, особенно в ту раннюю пору! Система «не убеждать, а

сплачивать» и обманом толкать на дело, вела, конечно, «к бесследной гибели большинства», но ни в каком случае не «к настоящей революционной выработке», хотя...

## Воспоминания о С. Г. Нечаеве

На Васильевском острове, кажется, в Андреевском училище для готовившихся в учителя давали предметные уроки обучения по звуковому методу. Черкезов познакомил меня с учителем, и я стала ходить на эти уроки. Однажды учитель назвал человек 7–8 из слушателей, и меня в том числе, в свою квартиру.

— Надо поговорить о том, что следует читать учителям, чтобы подготовиться к своей деятельности.

Выбрали вечер. Собралось нас в маленькой комнатке человек 10. За столом не хватило всем места.

Несколько человек сидело в сторонке на кровати, отдернув закрывавшую ее занавеску на шнурке. Эти учителя, — все очень молодые, не старше меня самой, — и раньше не представлялись мне особенными мудрецами. Теперь из начавшихся разговоров я увидела, что они очень мало знают, меньше меня самой.

Моя застенчивость быстро исчезла, поэтому я начала вмешиваться и оказалось удачно: меня слушали, и большинство становилось на мою сторону. Кто-то предложил читать по педагогике и назвал какую-то книгу. Один из сидевших в стороне от кровати, лицо которого показалось мне незнакомым (Яковлев назвал его учителем приходского Сергиевского училища), возражал, я присоединилась к нему. Сторонники чтения по педагогике были немедленно побеждены. Педагогика — педагогией, но важнее самим то педагогам хоть немного разбираться в вопросах жизни. Но что же читать? Все как-то примолкли на минуту. Я начала тогда называть достойное, по-моему, прочтения: «Исторические письма» Миртова, печатавшиеся тогда в «Неделе», Милля с примечаниями Чернышевского, которого я в это время читала по вечером, придя с работы. Пыталась я его читать еще в пансионе, но тогда дело шло очень плохо, — книга и тогда казалась мне понятной, но недостаточно интересной. Теперь я читала его так, как когда-то уроки учила: прочту главу и расскажу самой себе ее содержание. Под конец, читая Милля, я начала иногда угадывать заранее, что именно возразит на то или другое место Чернышевский, и, когда удавалось, была очень довольна. Все, что называла, заслуживало полного одобрения Яковлева, нового господина на кровати и одного наиболее речистого из учеников; остальные молчали. Начали их расспрашивать, что они уже читали, и, оказалось, что очень мало, некоторые читали кое-что из Писарева, но ни, один не читал Добролюбова. Я сказала, что моя любимая статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день».

— А когда же он придет? — спросил один из учеников. Я сказала, что Добролюбов думает, что при поколении, которое «вырастет в атмосфере надежд и ожиданий».

— При нас, значит, — заметил господин на кровати. Когда расходились он рекомендовался мне Нечаевым и просил прийти в Сергиевское училище.

— Что же, там тоже учителя собираются? — спросила я.

— Нет, учителя не собираются, но надо нам потолковать.

Через месяц или два имя Нечаева знало все студенчество и все общество, интересовавшееся студенческими историями. Но в это время оно не говорило мне ровно ничего. Пойти на его приглашение я не собралась.

Чуть не с самого появления саратовцев я уже слышала, что в этом году непременно будут студенческие волнения. Почему, для чего, — этого я добиться не могла, но этому радовались, и я готова была радоваться.

Собственно, официально-признанные студенческие «беспорядки», обозначившиеся арестами нескольких человек и высылкой из Петербурга около сотни, кажется, студентов, произошли только весной.

Не помню, с чего началось дело. Мои воспоминания уже застают студентов разделенными на два лагеря: «умеренных», — езеровцев и «радикалов», — нечаевцев. Езеровцы были в большинстве. Но и те, и другие, вместе взятые, составляли маленькое меньшинство среди студенчества.

Это была группа инициаторов, человек в триста подобравшаяся из студентов первого и второго курсов всех тогдашних высших учебных заведений Петербурга: университета, медицинской академии, технологического и земледельческой академии.

Мне так тяжело, так тоскливо было говорить свои «невероятно это» ... «не знаю» ... Я видела, что он говорит очень серьезно, что это не болтовня) о революции: он будет делать и может делать, ведь верховодит же он над студентами?..

Служить революции — величайшее счастье, о котором я только смею мечтать, а, ведь, он говорит, чтобы меня завербовать, иначе и не подумал бы... И что я знаю о народе: бяколовских дворовых или своих брошюровщиц, а он сам из рабочих...

Быстро мелькали в голове взволнованные мысли.

— Но вы не отказываетесь дать свой адрес? — спросил замолчавший было Нечаев.

Об этом у нас была речь уже раньше. Я тотчас схватилась за это.

— Конечно, нет! Я ведь очень мало знаю и очень хочу что-нибудь делать для дела. Я не верю, чтобы из этого именно вышла революция, но, ведь, я и никакого другого пути не знаю; я все равно ничего не делаю и буду рада помогать, чем только смогу.

Я, конечно, не помню в точности своих слов, но живо помню свое тогдашнее состояние. Ведь это был первый серьезный разговор о революции, первый шаг к делу, как мне тогда казалось.

Нечаев, видимо, обрадовался моей сдаче.

— Так по рукам, значит?

— По рукам.

Он вышел в другую комнату что-то сказать Аметистову. Я тоже встала и начала ходить по комнате. Он вернулся на свое место и вдруг сразу:

— Я вас полюбил...

Это было более, чем неожиданно. Как с этим быть? Кроме изумления и затруднения, как ответить, чтобы не обидеть, я ровно ничего не чувствовала и еще два молча прошлась по комнате.

— Я очень дорожу вашим хорошим отношением, но я вас не люблю, — ответила, наконец.

— Насчет, хорошего отношения, это — чтобы позолотить пилюлю, что ли?

Я не ответила. Он поклонился и вышел. Недоумение, в которое привел меня последний эпизод, как-то стерло, разбавило силу чувства, вызванного предыдущим разговором, и я, походивши еще немного по комнате, улеглась на диван и тотчас же заснула.

Утром за самоваром мы встретились с Нечаевым, как им в чем не было, — как будто никакого неделового эпизода вовсе и не было.

Дело в том, что каким-то инстинктом я его «полюбил» совсем не поверила и, так как думать об этом мне было почему-то неприятно, я и не думала. Позднее я убедилась, что инстинкт подсказал мне правду. Нежные отношения, в которых не обошлось без признания в любви, были у него и в это время, и скоро после, за границей, в Москве. Невероятно, чтобы при этом огромное дело (в его намерениях, по крайней мере), которое он предпринял, полагаясь на одного себя, в его душе оставалось место для нескольких «любвей» или ловеласничанья. Вероятнее, что в некоторых случаях он признавался в любви, когда считал это нужным для дела.

По заповеди «катехизиса», — «революционер — человек обреченный, для него нет ни любви, ни дружбы, никаких радостей, кроме единой революционной страсти. Для революционера не должно быть никакой нравственности, кроме пользы дела. Нравственно все то, что способствует революции; безнравственно все, что ей мешает» ... Если эти заповеди во время процесса вызывали и смех, и злобу, — так мало соответствовали они тому, что вышло в действительности, — то для самого то Нечаева «катехизис революционера» имел, мне кажется, реальное значение. В том же документе «содействию женщин» придается огромное значение. Но в предприятии, как он его задумал, помощь делу совпадала с помощью ему, с исполнением его внушений. При этом и тогда уже обман играл большую роль в его расчетах.

Меня, он, вероятно, еще раньше; задумал взять с собой за границу для помощи в различных сношениях. Ведь он случайно считал меня гораздо бойчее, развязнее, чем я была. Могла я еще пригодиться и знанием языков. Вели бы я выказала полнейший фанатизм к его планам, он, быть может, позвал бы меня за границу, и без признания в любви. Мою склонность сомневаться, хотя бы и при готовности помогать, он допытался уравновесить признанием, а когда и это не удалось, отложил намерение. Потом, однако, он все-таки прислал требование, чтобы я ехала за границу, но письмо было перехвачено, и узнала я о нем только в тюрьме.

Я могла бы решить, что, хотя мне и очень совестно лгать хорошим людям, но этого требует долг перед революцией. Ведь в том же стихотворении Рылеева, о котором я упоминала, я прочла тоже и наизусть выучила, также и следующие строки:

«Не говори, отец святой, что это грех, — слова напрасны.

Пусть — грех великий, грех ужасный! ...

Что Малороссии родной, чтоб только русскому народу  
вновь возвратить его свободу.

Все грехи, все преступления я на душу принять готов».

Но уже такой-то веры в свой план, чтобы я ради его осуществления, сочла нужным говорить не всю правду Герцену, Бакунину, — он ни в каком случае не мог мне внушить. Поэтому, вероятно, он и отказался от этого намерения.

Утром мы с Нечаевым встретились, как ни в чем не бывало, — как будто ничего подобного ночному эпизоду не было.

Прощаясь, Нечаев сказал мне, что письма могут приходиться и не для него, если его и не будет в Питере.

— Кому же мне тогда отдавать их?

— Там увидите.

Прошло несколько дней. Помню, давался литературно-музыкальный вечер в пользу высылаемых студентов. Мне помнится, что аресты и. высылки начались позднее, но их ожидали, и вечер давался про запас, так сказать. Пела Лавровская, любимица всей тогдашней молодой публики. Не за один только голос ее любили, а в это время главным образом за то, что не хотела подчиняться своему положению

актрисы: не принимала подарков. В наиболее читаемой тогда газете (там писали: Суворин, Буренин, и, вообще, у меня осталось от нее впечатление чего-то фальшиво-шутливого, притворно-легкомысленного, чего-то аналогичного «Новому Времени», каким оно было в либеральные времена) ей за это сделали выговор, а публика делала овации.

И на этот вечер она пришла в гладком черном платье со стоячим воротником, так, как ходили тогда по праздникам «нигилистки». Пела «Тучки небесные... нет у вас родины, нет и изгнания». Приняв это за намек на тайную, известную всем питерцам, цель вечера, публика неистово аплодировала; аплодировали также Лерновой, начавшей с объяснения, что, хотя она, было, отказалась быть на вечере, но, узнав его истинную цель, пожелала участвовать в нем во что бы то ни стало. Потом что-то читали тоже соответственное. Вообще вечер был очень удачен.

Я пошла ночевать к Томиловой, вместе с нею и Анной. Нечаев провожал нас.

В этот же день или, еще накануне я слышала, что Нечаева призывали и грозили ему, что, если сходки будут продолжаться, он будет арестован. На замечание Анны или Томиловой, что ему не следует ходить на них, он возразил, что это все равно: ему там сказали, что будет он ходить или нет, арестован будет во всяком случае. Но вечером он был очень доволен и уверял, придравшись к какой-то фразе, которой публика аплодировала, что она готова требовать республики.

На другое утро я спала в первой комнате от передней, а Томилова в следующей), еще не совсем рассвело, когда, проснувшись, я увидела перед собой Нечаева с свертком в руке.

— Спрячьте это!..

Не решаясь вылезти из-под одеяла, я ответила:

— Хорошо, спрячу. — Но протянутого свертка не брала. На звуки голосов из своей спальни вышла Томилова и взяла сверток. Ничего не объяснив и не прибавив, он тотчас ушел. Это — в последний раз, что я его видела в полутьме зимнего утра с протянутым свертком в руке.

В небольшом свертке были какие-то бумаги, крепко увязанные. Томилова завернула в платок и уложила в мешок из шнурков, — с таким в баню ходят. Она заметила, что, если бы он лопался, это могло бы погубить несколько сот человек. Я взяла мешок с собой в переплетную и целый день держала его около себя, ни на минуту не теряя из виду.

Вечером, отправляясь домой, я вдруг сообразила, что глупо было не сбегать отнести его днем. Особенное опасение внушали мне пустынные мостки через Неву, ведущие к домику Петра Великого, близ которого была наша квартира; пьяные преградят дорогу, до него еще что-нибудь...

И, действительно, еще издали меня испугал на половине мостков быстро шедший навстречу мужчина. Поравнявшись со мною, он схватил меня за отворот шубки и потащил за собой.

В другое время, я бы крикнула, и это тотчас же помогло бы, так как на конце мостков стоял городской. Но нельзя же кричать с такой ношей. Я принялась молча колотить изо всей силы своего врага. На половину пустой мешок с твердым свертком начал действовать, как кистень. Выругавшись, он меня выпустил, и я побежала дальше.

Я была довольна. Дело в том, что я легко пугалась, а, между тем, страстно желала быть храброй. До приезда в Петербург моя храбрость почти не подвергалась никаким испытаниям.

## Из воспоминаний о покушении на Трепова.

Маша ночевала у меня. С вечера я сказала хозяйке, что утром уезжаю — в Москву, кажется, — я уже и раньше говорила ей, что мне, может быть, придется уехать на короткое время, и что мои вещи, если не вернусь до конца месяца, может передать Маше [176]. Все эти предосторожности нужны были для Маши: она хотела, по своим особым соображениям, остаться на некоторое время в моей комнате. Написала прошение о выдаче мне свидетельства о поведении, ложного, для получения диплома, и легла спать.

Мне казалось, что я спокойна и только страшно на душе, — не от разлуки с жизнью на свободе, — с ней я давно покончила, была уже не жизнь, а какое-то переходное состояние, с которым хотелось скорее покончить.

Страшной тяжестью легло на душу завтрашнее утро: тот час у градоначальника, когда он вдруг приблизится там вплотную... В удаче я была уверена, — все пройдет без малейшей зацепинки, совсем не трудно и ничуть не страшно, а всё-таки смертельно тяжело....

Это ощущение было для меня неожиданным. При этом — не возбуждение, а усталость, даже спать хотелось. Но, как только я заснула, начался кошмар. Мне казалось, что я не сплю, а лежу на спине и вдруг чувствую, что схожу с ума, и выражается это в том, что меня неодолимо тянет встать, выйти в коридор и там кричать. Я знаю, что это безумно, из всех сил себя удерживаю и все-таки иду в коридор и кричу, кричу. Прилежшая рядом со мной Маша будит меня: я в самом деле кричу, только не в коридоре, а на своей постели. Опять засыпаю и опять тот же сон: против воли выхожу и кричу; знаю, что это безумие и все-таки кричу, и так несколько раз...

Пора вставать — часов у нас нет, но начинает сереть, и у хозяйки что-то стукнуло. К Трепову надо поспеть к 9-ти, — до начала приема, чтобы естественным образом спросить у дежурного офицера, принимает ли генерал Трепов и, если окажется, что принимает помощник, незаметно уйти. А раньше еще надо побывать на вокзале.

Мы молча встаем в холодной полутемной комнате. Я одеваюсь в новое платье, пальто и шляпу надеваю старые, и уже одевшись, выхожу из комнаты; новая тальма и шляпа уложены в саквояж: я переоденусь на вокзале. Это нужно потому, что хозяйка непременно пожелает проститься, — я избаловала ее разговорами, — будет хвалить тальму, советовать не надевать в дорогу. А завтра эта тальма будет во всех газетах и наведет ее на мысли. Было мне время все обдумать до мельчайших подробностей.

На улице уже рассвело, но полутемный вокзал еще совершенно пуст. Я переодеваюсь, целуюсь с Машей и еду. Холодно, мрачно выглядят улицы.

У градоначальника уже собралось около десятка просителей.

— Градоначальник принимает?

— Принимает: сейчас выйдет! — Кто-то точно нарочно для меня переспрашивает: «Сам принимает?» Ответ утвердительный.

Какая-то женщина плохо одетая, с заплаканными глазами, подсаживается ко мне и просит взглянуть на ее прошение, — так ли там написано? В прошении какая-то несообразность. Я советую ей показать прошение офицеру, так как видела, что он уже чье-то просматривал. Она боится, просит, чтобы я показала. Я подхожу с ней к

офицеру и обращаю его внимание на просительницу. Голос обыкновенный, — ни в чем не проявляется волнение. Я довольна. — Кошмарной тяжести, давившей меня со вчерашнего вечера, нет и следа. Ничего на душе, кроме заботы, чтобы все сошло, как задумано.

Адъютант повел нас в следующую комнату, меня первую, и поставил с краю, а в это же время из других дверей вышел Трепов с целой свитой военных, и все направились ко мне.

На мгновение это смутило, встревожило меня. Обдумывая все подробности, я нашла неудобным стрелять в момент подачи прошения: и он, и свита на меня смотрят, рука занята бумагой и проч., и решила сделать это раньше, когда Трепов остановится; не доходя до меня, против соседа.

И вдруг нет соседа до меня, — я оказалась первой...

Не все ли равно: выстрелю, когда он остановится около следующей за мной просительницы, — окрикнула я себя внутренне, и минутная тревога тотчас же улеглась, точно ее и не было.

О чем прошение?

— О выдаче свидетельства о поведении.

Черкнул что-то карандашом и обратился к соседке. Револьвер уже в руке, нажала собачку... Осечка.

Екнуло сердце, опять, выстрел, крик...

— Теперь должны броситься бить, — значилось в моей столько раз пережитой картине будущего.

Но произошла пауза. Она, вероятно, длилась всего несколько секунд, но я ее почувствовала.

Револьвер я бросила, — это тоже было решено заранее, иначе, в свалке, он мог сам собой выстрелить. Стояла и ждала.

«На преступницу напал столбняк», — писали потом в газетах.

Вдруг все задвигалось: просители разбегались, чины полиции бросились ко мне, схватили с двух сторон.

— Где револьвер?

— Бросила, он на полу.

— Револьвер! Револьвер! отдайте! — продолжали кричать, дергая в разные стороны.

Предо мной очутилось существо (Курнеев, как я потом узнала): глаза совершенно круглые, из широко раскрытого рта раздается не крик, а рычание, и две огромные руки со скрюченными пальцами направляются мне прямо в глаза. Я их зажмурила из всех сил, он ободрал мне только щеку. Посыпались удары, меня повалили и продолжали бить.

Все шло так, как я ожидала, излишним было только покушение на мои глаза, но теперь я лежала лицом вниз, и они были в безопасности. Но, что было совершенно неожиданно, так это то, что я не чувствовала ни малейшей боли; чувствовала удары, а боли не было. Я почувствовала боль только ночью, когда меня заперли наконец, в камере.

— Вы убьете ее?

— Уже убили, кажется.

— Так нельзя: оставьте, оставьте, — нужно же произвести следствие!

Около меня началась борьба: кого-то отгалкивали. — должно быть Курнеева.

Мне помогли встать и усадили; на стул... Мне казалось, что я была все в той же

комнате, где подавала прощение, но предо мною, несколько влево у стены, шла вверх широкая лестница без площадки, до самого верха противоположной стены, и по ней, спеша и толкаясь; с шумом и восклицаниями, спускались люди. Она тотчас приковала мое внимание: откуда взялась тут лестница, раньше ее как будто не было, и какая-то она точно не настоящая, и люди тоже не настоящие. Может быть, мне это только кажется, — мелькнуло тут же в голове. Но меня увели в другую комнату, и вопрос о лестнице так и остался у меня под сомнением и почему-то целый день, как только оставят меня на минуту в покое, так она и вспомнится.

Комната, в какую меня перевели, была большая, гораздо больше первой, у одной из стен стояли большие столы, вдоль другой шла широкая скамья. В комнате в этот момент было мало народу, из свиты градоначальника, кажется, никого.

— Придется вас обыскать, — обратился ко мне господин каким-то нерешительным тоном, несмотря на полицейский мундир, — какой-то он был неподходящий к этому месту и времени: руки дрожат, голос тихий и ничего враждебного.

— Для этого надо позвать женщину, — возразила я.

— Да где же тут женщина?

— Неужели не найдете? И сейчас же придумала:

— При всех частях есть казенная акушерка, — вот за ней и пошлите, — посоветовала я.

— Пока то ее найдут, а ведь при вас может быть оружие? Сохрани господи, что-нибудь случится...

— Ничего больше не случится; уж лучше вы свяжите меня, если так боитесь.

— Да я не за себя боюсь, — в меня не станете палить. А верно, что расстроили вы меня. Болен я был, недавно с постели встал. Чем же связать-то?

Я внутренно даже усмехнулась: вот я же его учить должна!

— Если нет веревки, можно, и полотенцем связать.

Тут же в комнате он отпер ящик в столе и вынул чистое полотенце, но вязать не торопился.

— За что вы его? — спросил он как-то робко.

— За Боголюбова.

— Ага! — в тоне слышалось, что именно этого он и ожидал.

Между тем весть, очевидно, уже распространилась в высоких сферах. Комната начала дополняться: один за другим прибывали особы военные и штатские и с более или менее грозным видом направлялись в мою сторону. В глубине комнаты появились солдаты, городовые. Мой странный (для данного места и времени) собеседник куда-то исчез, и я его больше не видала. Но стянули мне за спиной локти его полотенцем. Распоряжался какой-то шумный, размашистый офицер. Он подозвал двух солдат, со штыком на ружьях, поставил их за моей спиной и велел держать за руки. отошел на середину комнаты, посмотрел, должно быть, место не поправилось, перевел на другое. Уходя, предостерег солдат:

— Вы берегитесь, а то, ведь, она и ножом пырнуть может!

Мое предвидение, а, следовательно, и подробная программа поведения не шла дальше момента побоев. Но с каждой минутой я все сильнее и сильнее радостно чувствовала (несмотря на вспоминаящуюся лестницу), что не то, что вполне владею собой, а нахожусь в каком-то особом небывалом со мной состоянии полнейшей неязвимости. Ничто решительно не может смутить меня или хотя бы раздражить, утомить. Чтобы ни придумали господа, о чем-то оживленно

разговаривавшие в это время в другом конце комнаты, — я то буду спокойно посматривать на них из какого-то недостижимого для них далека.

На несколько минут нас оставили в стороне, и солдаты начали перешептываться.

— Ведь скажет тоже: связана девка, два солдата держат, а он: берегись — пырнет!

— И где это ты стрелять выучилась? — шепнул он потом над самым ухом.

В этом, «ты» не было ничего враждебного, — так, по мужицки.

— Уж выучилась! Не велика наука, — ответила я также тихо.

— Училась да не доучилась, — сказал другой солдат — плохо попало-то!

Не скажи, — горячо возразил первый, — слышать, очень хорошо попала, — будет ли жив!

В группе сановников произошло движение, и они направились в мою сторону. Это — вернулись полицейские, посланные произвести обыск по фантастическому адресу, выставленному мною на прошении.

— На Зверинской улице в номере таком-то никто не живет, дом снесен!

— Вы дали ложный адрес!..

### Д. А. Клеменц. (Личные воспоминания)

Я познакомилась с Дмитрием Александровичем Клеменцом в конце апреля 1878 года. Он был давно нелегальным и в то время, недавно приехав из-за границы, жил без прописки в квартире, принадлежавшей доктору Веймару. Недели через 3 после моего оправдания, переменяв несколько приютов, туда же попала и я.

По рассказам я уже давно знала Клеменца: его имя было одно из самых известных имен пропагандистов первой половины семидесятых годов. Знала я его так же как автора нескольких остроумных статей в журнале «Вперед»). Молва рисовала его при этом человеком веселым, склонным к шутке, к мистификации. Едет он, например, по железной дороге в костюме рабочего, к нему подсаживается студент и «по глазам видно-хочется юнцу пропагандой заняться».

Клеменц доставляет ему это удовольствие, задает вопросы насчет явлений природы, слушает, удивляется, а потом возьмет и поправит какую-нибудь ошибку студента, ссылкой на такого-то профессора или на такой-то учебник.

Последние три года Клеменц, — если и не сплошь, то, но большей части, — жил за границей. Не знаю, были ли у него какие-нибудь готовые планы, когда, после окончания процесса 193-х, он вернулся в Россию, но пока он во всяком случае оставался в стороне. Он был чайковцем, но организованного кружка чайковцев уже не существовало, а с новой организацией будущих землевольцев, носивших еще название натансоновцев или троглодитов, он не сблизился.

Привел меня в квартиру Веймара один из деятельнейших троглодитов, Оболешев, известный тогда под именем «Алешки».

— Вот вам тут, чтобы не скучали, интересный кавалер имеется, да еще с заграничным штемпелем, — рекомендовал мне Алешка вышедшего нам навстречу Клеменца.

Клеменц проворчал что-то в ответ на шутливую рекомендацию и видимо остался недоволен, сидел и молчал, пока не ушел Оболешев.

Первое впечатление не соответствовало составленному заранее представлению, но веселым я редко видала Дмитрия Александровича также и впоследствии. Он, правда, в разговоре часто употреблял шутливые выражения: рассказывая что-

нибудь, он охотно выдвигай и подчеркивал комические черточки. Н. А. Морозов приводит несколько прозвищ, данных Клеменцом разным изданиям. Я помню еще два: появившееся тогда «Начало» он прозвал «мочалой», а «Отечественные Записки», называл «Отечественными закусками». Но таков, казалось мне, был сложившийся характер его речи, таков был его способ выражать свои мысли. Вероятно, в ранней юности, когда этот способ только складывался, Клеменец радостно смотрел на свет божий, сыпал шутками ют полноты веселья, и шутка так сроднилась с ним, что подвертывалась на язык даже тогда, когда не весело смотрели его глаза на рассмеявшегося собеседника. Я, впрочем, не видала Дмитрия Александровича среди действующих товарищей, не видала его за делом. В течение четырех месяцев, когда мы были почти постоянно вместе, я узнала его только как человека, очень доброго и чуткого человека, который помог мне в трудное время после оправдания.

Оно было для меня в самом деле трудное. Перед этим я рассчитывалась с жизнью на воле и больше о ней не думала, и вдруг, совершенно неожиданно, мне вернули ее, и надо было решить, что мне с ней делать, и решить, как можно скорее. Между тем, все это первое время я была непрерывно окружена все новыми и новыми незнакомыми людьми и должна была наскоро учиться «держаться» в своем новом положении. Помню первый урок. Всего часа через два после освобождения, один молодой человек обратился ко мне с восклицанием:

— Вы должно быть теперь очень счастливы?

Я ответила: «не очень» — и тотчас же раскаялась в своей необдуманной правдивости, — так много изумления, огорчения и даже негодования вложил он в свое восклицание: «Что вы говорите!»

Я поспешила стереть впечатление, сказала, что еще не опомнилась, не огляделась. Это был радикал, а затем я попала в среду людей, едва знакомых с радикалами, для которых я была нечто невиданное и неслыханное. Они рисковали из-за меня, давая приют в своих квартирах; при других обстоятельствах знакомство с ними, быть может, доставило бы мне много удовольствия, но при данных — и, знакомство то, в сущности, не выходило, — я чувствовала себя слишком стесненной и поэтому, несмотря на окружающее меня сочувствие, более одинокой, чем в доме предварительного заключения.

Оглядевшись в своем новом убежище, я сразу почувствовала большое облегчение. Квартира наша находилась над ортопедической клиникой доктора Веймара и считалась необитаемой. Брат доктора, студент, взял от нее ключ, сказав дворнику, что будет ходить в эту квартиру готовиться к экзамену. Прислуги, конечно, никакой не было. Чай варили на имевшейся у Клеменца спиртовке, а еду приносил студент. Посетителей тоже было немного. Чтобы проникнуть к нам, надо было пройти через помещение жившей вместе с Веймаром г-жи Ребиндер, а она не одобряла лишних гостей. Кроме Эдиньки (так звали все студента), забегавшего по несколько раз на день, и Грибоедова, близкого приятеля Клеменца и Веймара, заходил иногда только сам доктор Веймар. Из его разговоров с Клеменцем всего живее врезались мне в память горькие жалобы на студентов медиков, отличавшихся во время войны с Турцией в санитарном отряде, которым заведовал Веймар.

Одна очень высокопоставленная особа пожелала, чтобы они были ей представлены, а студенты не пошли.

— Что мне делать! — жаловался Веймар. — Я уж им говорил: ну что вам стоит выслушать несколько милостивых слов из уст прекрасной дамы и поцеловать у

ней ручку? Так нет же, — уперлись варвары, и ни с места! Я уж ей докладывал, что они, мол, стесняются неимением хороших костюмов, а она говорит: — «Пусть придут в тех, какие обыкновенно носят». Ну, что с ними делать?

В этот момент никто не предсказал бы, что Веймар умрет на каторге.

Ни в каком злоумышлении он и действительно не был повинен. Уликами против него была покупка лошади, на которой скрылся убийца Мезенцова, и, главное, револьвер, из которого стрелял Соловьев. Но лошадь он купил за несколько лет до смерти Мезенцова и за ее дальнейшей судьбой не следил; револьвер же свой собственный дал кому-то из радикалов без определенной цели, а потом, перейдя через несколько рук, этот револьвер достался Соловьеву.

По большей части мы с Клеменцем оставались одни в квартире. Он сразу повел себя так, как будто ровно ничего особенного со мной не случилось, и с ним первым за последний месяц я почувствовала себя свободной. В первые дни, однако, я все же плохо поддерживала разговор, и он оставлял меня в покое. Уйдет, бывало, в свою комнату и читает там что-то, пока не придет с едой Эдинька или не настанет время чай пить.

Но скоро наши разговоры, начинавшиеся, за чаем, стали затягиваться. Он говорил о жизни за границей, о чайковцах, о южных бунтарях, к которым прежде принадлежала. Общее между нами было то, что оба в данный момент не принадлежали ни к какой организации. Своими для Клеменца по старой памяти оставались чайковцы, но он предвидел, что придется присоединиться к натансоновцам — этого потребует долг, обязанность — больше некуда пристать, но радостных перспектив это в нем, по-видимому, не вызывало. После разгрома пропагандистов 73–74 гг., движение возродилось, сперва на юге, потом на севере, в виде бунтарства. Вместо пропаганды поверили в возможность поднять народ посредством агитации на почве уже имеющихся у него желаний и чаяний. Первый период захватил Клеменца целиком, но второй веры он, кажется, не пережил и подошел к ней поближе лишь теперь, когда и она уже была накануне упадка.

Чаще и чаще Клеменц стал заговаривать со мной о Швейцарии, о том, какая это прелесть торы до какое наслаждение лазить по ним. Ему таки придется еще раз туда съездить, и как хорошо, что придется захватить там часть лета.

— Вот бы и вам поехать за компанию. На какие бы я вас вершины сводил!

Первое время я совсем не думала о поездке за границу, и, когда Брешковская написала мне (переписка завязалась у нас в доме предварительного заключения и продолжалась, когда я вышла оттуда, а она осталась, дожидаться отправки в Сибирь), что не советует ехать за границу, куда меня, наверное, будут отправлять.

— Что за охота, — писала она, — фигурировать в роли отставного героя, — я с ней совершенно согласилась.

Когда я передала Клеменцу слова Брешковской, он запротестовал.

— Я вас не «фигурировать» зову, а пошляться по горам. Там не пофигурируешь, и «геройство» там требуется совсем особое: круто не круто, а лезь.

Он, очевидно, страстно любил природу и умел рисовать ее мне на соблазн самыми неожиданными чертами.

— Разве не интересно в какой-нибудь час пройти, от середины лета через май и апрель до марта? Внизу уже трава вся скошена, а мы идем по цветущему майскому лугу, потом оказывается, что еще только зацветают первые весенние цветочки, а через 10 минут трава только что начинает пробиваться из голой земли, и по ней бегут струйки из-под тающего снега.

И я соблазнилась. К тому же приговор был кассирован [186], и со всех сторон

стали настаивать на моем отъезде. Передавали, что какой-то генерал предлагал провезти меня под видом своей жены, строились и еще какие-то планы, но опытные люди, и Клеменц в том числе, находили, что всего вернее будет подождать Мойшу Зунделевич, который был в это время в Швейцарии, и переехать границу обычным контрабандным путем. Я тоже предпочитала этот способ. Путешествие с генералом мне совсем не улыбалось.

После кассации г-жа Ребиндер заметила около дома какие-то зловещие признаки (Эдинька уверял, что ей со страху показалось), и мы с Клеменцем переселились к его приятелю Грибоедову, который служил где-то при железной дороге, кажется. Он любил радикалов, подсмеивался над ними и в то же время оказывал им услуги. У него часто делали обыски и всегда без результатов. Он говорил, что по разным приметам безошибочно знает уже с вечера, что ночью будет обыск, и приготовляет бутылку водки и закуски. Полиция, по его словам, у него почти и не ищет, только закусывает и умиляется:

— Вот если бы, все-то были такие же понимающие люди, а то иные сердятся, точно мы по своей воле по ночам рыскаем.

В настоящий момент он ручался за нашу полную безопасность. У него жилье пошло совсем свободное, и можно было видеться со старыми приятельницами, бывшими в Петербурге.

Наконец приехал Мойша и с ним Сергей Кравчинский, который прямо с вокзала явился на квартиру Грибоедова. Сергей был лучшим другом Клеменца, но был совсем, не похож на него, в данный момент в особенности. Приехал он весь сияющий, в самом восторженном настроении. Сквозь призму иностранных газет и собственного воображения мое оправдание и последовавшие затем демонстрации показались ему началом революции. К его приезду Петербург давно принял свой обычный угрюмый вид, но Сергей не давал этому обстоятельству сбить себя с занятой позиции. Город доказал уже, что представляет из себя, — не помню уж, — вулкан или костер, лишь сверху покрытый пеплом и готовый разгореться при первом же дуновении ветра. В это время среди радикалов ходил по рукам рассказ о Чигиринском деле, присланный из тюрьмы Стефановичем. Сергей прочел, нахмурился и несколько времени думал, а потом заявил, что к этому делу нельзя подходить с обычной нравственной меркой. Принцип остается непоколебимым, но бывают моменты, когда насилие над собственным нравственным чувством становится подвигом (в доказательство — ссылки на известное изречение Дантона, на «исповедь Наливайки» Рылеева). И Чигиринское дело именно таково, основание дружины дало начало громадному народному движению.

— Да ведь она уже кончилась, разгромлена! — возражают ему.

— Это ничего не доказывает. Дружина быстро росла, и сама по себе продолжала бы расти все быстрее. Что, если бы нечаянный случай с неосторожным дружинником [188] произошел позднее, когда в дружине уж было бы 20 или 30 тысяч? Тогда дело кончилось бы иначе...

Или примется уверять, что русские революционеры все на' подбор прирожденные вожди, гиганты.

— Ну, где там? Фантазируете вы! — скажешь ему. В ответ на это следует ссылка на мадам Роллан, которая писала мемуары во время революции и жаловалась, что между ее современниками нет крупных людей.

— А ведь нам они кажутся гигантами. Я уверен, что вижу наших радикалов в том самом свете, в каком увидит их потомство.

Клеменц был старше Кравчинского всего на 2–3 года, но относился к нему как-то по-отечески, словно к любимому детищу, а за его гиперболы и фантазии называл «синей птицей». В таком состоянии, как в эти несколько дней, которые мы пробыли вместе в Петербурге, я уже никогда не видала Сергея, хотя долгие годы знала за границей. Приехал Сергей с планом издавать в Петербурге газету, он же придумал и название газеты: «Земля и Воля», перешедшее на организацию.

\*\*\* Дней через 5 мы тронулись в путь и без малейших затруднений добрались до Швейцарии, если не считать того, что в Берлин мы попали на другой день после выстрела Нобилинга, и все русские приятели Зунделевича и Клеменца были в тревоге, ожидая нашествия полиции. Ни на одну квартиру мы не могли зайти и провели несколько часов до поезда в каком-то парке.

До обещанных гор пришлось пробыть в Женеве недели две, и тут понадобилось все имевшееся у меня упорство и самая энергичная защита Клеменца, чтобы не дать втянуть себя в «фигурирование», предсказанное Брешковской. В то время почти все русские эмигранты становились анархистами и поддерживали тесные сношения с швейцарскими, итальянскими и отчасти французскими анархистами. Заранее предполагалось, что и я окажусь анархистской, и когда приеду за границу, то из моей внезапной, всеевропейской известности можно будет извлечь не мало пользы для дела анархии. Я в то время имела лишь смутное понятие как об анархии, так и об социал-демократии. Русская пресса не давала сведений о таких вещах, а попадавшие мне в руки заграничные издания давали слишком отрывочные. И вот на второй же или на третий день по приезде уже излагают такой план: парижские анархисты назначат день и час моего «приезда в Париж и приготовят там встречу, может собраться по меньшей мере несколько тысяч. Полиция может вмешаться, но арестовать меня не дадут. Я отказалась самым решительным образом, но меня уверяли, что это необходимо и что я только потому и отказываюсь, что не знаю иностранной жизни. Клеменц сразу стал на мою сторону и защищал меня самым энергичным образом, но когда мы остались одни — стал защищать авторов плана.

— Я то вас довольно знаю, а нам невдомек, что вы ухитрились свою известность до зубовного скрежета возненавидеть. Сам по себе титан невинный и девять десятых, дай только им вашу знаменитость, согласились бы на него с удовольствием.

Когда с этим планом было покончено, возник другой. Я должна написать открытое письмо против немецких социал-демократов и хорошенько их отщелкать. Не помню уже, в какую именно газету предполагали послать письмо, но рассчитывали, что его станут перепечатывать и цитировать, и оно широко распространится.

К этому плану Клеменц отнесся отрицательно не только из соображений о моих свойствах, но и, по существу. Нельзя ругать партию, не имея об ней достаточного понятия. Я и без Клеменца, конечно, не согласилась бы писать о том, чего не знаю, и в Париж бы не поехала, но сопротивляться в одиночку целой компании было бы очень неприятно, а с ним я чувствовала себя под надежной защитой.

Отправились мы, наконец, в горы. Один эмигрант [189] поселился с своей семьей в горном шалэ над Сионом — маленьким городком в глубине долины Роны — и пригласил нас погостить. В эту пустынную местность не заглядывали иностранцы, наводняющие летом Швейцарию. К нескольким домикам, разбросанным по горе, не было даже искусственно проложенной дороги, а вела наезженная, вроде наших проселочных. А выше этих шалэ уже не было никаких жилищ, кроме построек для пастухов на высоких пастбищах. Это то и нравилось Клеменцу. Он в принцип

возвел ходить лишь в такие горные места, которые уж упомянуты в путеводителе Бедекера», а, следовательно, не приспособлены для иностранцев и ими не посещаются.

К нам присоединился один молодой француз. Мальчишкой лет 16-ти он при разгроме коммуны бежал, от версальцев и с тех пор болтался в эмиграции. Во время своего прежнего пребывания в Швейцарии Клеменц обратил на него внимание, говорил с ним, старался приохотить к чтению, настаивал, чтобы ленивый парень работал, когда находилась работа. Воспитание шло не особенно успешно, лентяем он остался, но к Клеменцу привязался, как собака, и считал его умнейшим из людей. Вел он себя скромно, не претендовал, когда при нем говорили по-русски, и настаивал, чтобы ему, как младшему, давали нести провизию.

Переночевавши в шалэ у Эльсница, мы на другой же день отправились в путь, расспросивши почтальона о ближайших вершинах и проходах.

Шли мы «вольно», без непреклонно установленного маршрута, несколько старались обыкновенно очутиться к восходу солнца на открытом восточном склоне и как можно выше. После восхода солнца ложились спать прямо на траве, потом разыскивали покинутую пастушью хижину и варили там чай. Их не мало в этой местности. На каждом горном пастбище скот пасется недели две, а затем переходит на другое. Покинутое жилье пастухов остается не запертым, и никому не запрещено входить в него и разводить огонь на очаге, над которым висят на железных крюках большие черные котлы. Мы так и делали, и если находили около очага готовое топливо, то, уходя, оставляли на виду какую-нибудь монету в полной уверенности, что хозяева найдут ее в целости, так как воры не заходят в такую пустыню.

Мы, действительно, не встречали никого и могли бы не видеть ни одного человека, если бы не шли иной раз на звон колокольчиков на шеях коров, чтобы за несколько копеек получить от пастухов вволю сливок, а иногда и сыру, и, расспросив их об окрестных проходах, выбрать себе ближайшую экскурсию. Открыли мы даже один глетчер с большим синим «морем льда», тоже не упомянутый у Бедекера. Это было наиболее трудное путешествие, так как идти пришлось не по лугам, как прежде, а по камням, что неизмеримо труднее. Но мои спутники умели лазить по скалам, а у меня оказались к этому великолепные способности. Прошлявшись так дня три, мы спускались к Эльсницам, отдыхали дня два в цивилизованных условиях, запасались всем нужным и опять уходили.

Такова была материальная сторона этих своеобразных прогулок, но в чем была их главная прелесть, чем именно произвели они на меня неизгладимое впечатление, оставшееся на всю жизнь, я не сумею рассказать с художественной убедительностью, не буду, и пытаться, поэтому.

Но, конечно, не одна красота пейзажей действовала на меня так сильно. Мне уже не случалось впоследствии шляться по горам в таких робинзоновских условиях, но я бывала, хотя и не часто, в таких местах, которым у Бедекера посвящено по целой странице. Это, разумеется, те именно пункты в горах, с которых открываются самые красивые виды, самые широкие панорамы гор. Их, прежде всего, обстраивают, отелями и всячески приспособляют для иностранцев. И красота открывающихся видов производила, конечно, сильнее впечатление, но совершенно иное. От созерцания этой красоты через 2–3 часа уже чувствуется утомление, как от продолжительного пребывания в картинной галерее или в театре, и хочется домой, на свобод, от отелей и иностранцев. А в тех пустынных,

почти нетронутых людьми горах, которые не упомянуты у Бедекера, я почувствовала себя в каком-то другом мире, с каждым часом росло во мне интенсивное чувство свободы от всего, что давило на душу, от людей и, главное, от себя самое. Отступили куда-то все тяжелые мысли и нерешенные вопросы. Не то, чтобы я иначе взглянула на них: я просто отбросила на это время всякие мысли, — «потом, успеется», а пока отдавалась целиком впечатлениям этого иного мира: «точно на) луну попала», — приходило иной раз в голову.

Клеменец радовался, что его горы «оправдали себя», как он выражался.

— Вы так ими хвастаетесь, точно они ваше собственное произведение.

— А то чье же по-вашему? Кто же их выдумал?

И для меня то, действительно, выдумал их именно он. Выдумал в Петербурге, в квартире Веймара.

Еще по дороге в Женеву, остановившись на несколько дней в Берне я познакомилась; с А. М. Эпштейн или Анкой как звали ее все друзья и как скоро стала звать и я. Она была женою Клеменца, как он тогда же сообщил мне, попросив не говорить Анке, что знаю об этом — потом она и сама скажет, а сейчас будет стесняться, а ему сделает нагоняй.

Позднее, когда Дмитрий Александрович был уже арестован, Анка рассказывала, мне с его слов, что юн и за границу то поехал на этот раз, главным образом, из-за меня.

— Вижу, мол, человек с утра до ночи только; о том и думает, на каком ему суку повеситься (фигурально, конечно). Ничего хорошего выйти из этого не могло, я и надумал полечить ее горами.

— Сам он, — рассказывала Анка, — живя в Швейцарии, прибегал к этому лечению от всех душевных невзгод. Из России ли получатся скверные вести или так тоска нападет, сейчас же в горы уйдет, даже зимой хаживал, хотя конечно, не на самые пустынные.

Анка была и своем роде тоже замечательным человеком. Она, как и Клеменц, была членом первоначального кружка чайковцев и во время деятельности этого кружка приносила ему много пользы.

Еврейка, дочь контрабандиста она, с детства зная, как что делается, первая устроила правильную, почти безопасную переправу через границу и людей, и изданий. Не идея служения русскому народу привлекла ее, она его не знала; народом для нее была еврейская беднота. Русских социалистов они всей душой полюбила за опасности, за страдания, которым они подвергаются, и всю душу вкладывала в то, чтобы уменьшить эти опасности, облегчить страдания. Ее другой специальностью было заводить сношения с тюрьмами, и тут она проявляла упорство и искусство, доходившее до виртуозности. В противоположность большинству тогдашних радикалов, которым приходилось разрывать со своими родными, она осталась в теснейшей дружбе со своей матерью (отец давно умер). Мать не только знала, чем занимается ее дочка, но даже сама помогала ей в ее бескорыстной контрабанде. В этом она не видала ничего дурного, но заставила Анку поклясться, что она не крестится и не выйдет замуж за «гоя». Опасение, как бы мать не узнала, и заставляло ее целыми годами скрывать свои отношения к Дмитрию Александровичу.

Она умерла в 90-х гг. Тяжело легло на нее наступившее в 80-х гг. реакционное затишье. Деятельная любовь к людям, нуждающимся в ее заботах, составлявшая сущность ее натуры, не находила себе естественного исхода. Случится беда и каком-нибудь эмигрантском: семействе: умрет кто-нибудь, с ума сойдет, заболеет,

— Анка тут. Все свои помыслы сосредоточит она на этой семье, работает, хлопочет, из кожи лезет («собственную шкуру людям на кофту перешивает», как характеризовал раз Клеменц ее склонность взвалить на свои плечи самую большую тяжесть, чтобы избавить друга от сравнительно меньшей). Но вот прошла беда, жизнь семьи входит в обычную колею, и Анка, успевшая всей душой привязаться именно к этой семье, чувствует, что она уже не нужна больше и опять становится чужой и лишней для нес... В последние годы жизни ее все больше и больше гинуло домой, к матери, — уж там то она не будет лишней.

Но для этого пришлось бы подавать прошение: жить у матери под чужим именем невозможно.

Но в июле 1878 г. это мрачное время было еще в неведомом будущем, а наступило хорошее — последнее совсем хорошее в жизни Анки. В Бернском университете, где она кончала медицину, начались вакации, и Анка приехала, чтобы провести их в горах с Дмитрием Александровичем. С ней приехали ее бернские приятельницы, и вся компания поселилась в горах, тоже над долиной Роны в более населенной местности, ближе к озеру. Там же поселилась и я.

От Сергея получались длинные письма. Он присоединился: к троглодитам и был все в том же радужном настроении, в каком приехал в Россию. В особенности восторженное письмо от него пришло после дела Мезенцова. Всем нам стало жутко за Сергея; в это время уже начались смертные казни. Клеменц решил, что необходимо немедленно ехать в Россию, но что-то — деньги, кажется — задержало его до конца августа. Он уехал, решив присоединиться к троглодитам и принять участие в редактировании газеты, а Сергея постараться хоть на время сплавить за границу. Так он и сделал, а через несколько месяцев был арестован.

## Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк)

28 декабря 1895 года громадная толпа жителей Лондона собралась на площади, перед вокзалом, чтобы проводить останки умершего русского изгнанника-революционера, Сергея Михайловича Кравчинского, писавшего под именем Степняка. По отзывам английской прессы, такого широкого и торжественного выражения общественного сочувствия давно не видал Лондон.

— Я знал Степняка и в течение нескольких лет пользовался его дружбой и добрыми советами — говорил в своей прощальной речи член английского парламента, рабочий социалист Джон Берне. — Я знал его за доброго, верного друга угнетенных всех национальностей... Он соединил в себе сердце льва и добродушие ребенка. Это был великодушный человек и крупная: личность в революционном движении Европы. И вот, чтобы засвидетельствовать это перед целым светом, мы сошлись здесь, в самом сердце Лондона; где свободно пользуемся тем, чего там страстно добиваются и за что борются все русские, подобные Степняку...

«Великодушный человек» ... «Сердце льва и добродушие ребенка» ... Берне указал действительно характерные черты погибшего изгнанника.

Джону Бернеу, как и воем своим многочисленным заграничным знакомым и читателям последнего десятилетия покойный был известен под именем Степняка. Но в революционной, «подпольной России» семидесятых годов одним из самых популярных, самых любимых имен было имя Сергея Кравчинского. Оно тесно срослось с самыми первыми шагами революционного движения.

Кравчинский как будто лишь вместе с этим движением появился на свет божий. О его детстве почти ничего не известно самым близким его людям. Он о нем никогда не рассказывал. Где родился — он, кажется, и сам не знал. Отец был военным доктором и, следуя за полком, семья часто переезжала с места на место. Учился он в Орловском кадетском корпусе, затем в пербургском артиллерийском училище; был произведен в офицеры, но скоро вышел в отставку и поступил студентом в Лесной институт.

В начале семидесятых годов, незабвенных для каждого, кто принимал тогда участие в движении, Кравчинскому было около двадцати лет. Он участвовал в самых первых шагах образовавшегося в Петербурге в 1872 г. кружка молодежи, ставшего потом известным под именем кружка чайковцев, и был одним из самых деятельных и несомненно самым талантливым его членом.

Занявшись сперва распространением хороших легальных книг среди учащейся молодежи, кружок скоро перешел к пропаганде среди рабочих, и Кравчинский читал им популярные лекции за Невской заставой.

В 1873—74 гг. кружок чайковцев, а за ним и вся захваченная движением интеллигентная молодежь принимается за пропаганду среди крестьян и одним из первых отправляется «в народ» Кравчинский. Чтобы иметь предлог для своего появления в деревне и не возбудить подозрительности крестьян, пропагандисты считали нужным знать деревенские работы или какое-нибудь обычное в деревне ремесло. Для большинства интеллигентов, не привычных ни к какому ручному труду, это представляло почти непреодолимые трудности. Сергей Кравчинский, кроме железного здоровья и большой физической силы, отличался еще необыкновенной способностью ко всякому ручному труду. Он как та сразу выучивался всему, за что брался, и при этом очень любил физическую работу. Это пристрастие осталось у него на всю жизнь. Даже здесь, в Лондоне, заваленный литературной работой, он; сам прокладывал газовые трубы в своей квартире, делал мебель, красил полы, двери и проч. Благодаря этой способности, Кравчинский был одним из немногих пропагандистов, ничуть не отстававших в работе от настоящих рабочих.

Еще недавно, незадолго до смерти, вспоминая об этом времени, Сергей с оживлением, с видимым удовольствием уверял, что «был, право же, хорошим рабочим. Все хвалили. Работал лучше самого Рогачева (разгибавшего подковы силача-товарища, с которым он вместе ходил „в народ“). Тот, конечно, был сильнее, сразу больше поднимет, но не так вынослив. К вечеру бывало совсем раскиснет, а я ничего».

Одно время он жил у молокан, расспрашивал их об их игре и рассказывал, им о «своей». Ему не раз случалось вспомнить о том голоде, который он там добровольно переносил. Молокане часто постятся, и пост у них заключается в том, чтобы ничего не есть по целым суткам, при чем работа продолжается, как обыкновенно.

— Можно бы, конечно, на стороне достать чего-нибудь поесть, никто бы не заметил, — рассказывал он, — но, по-моему, это было бы бессовестно.

По все, за что ни брался Сергей, он всегда вкладывал свою душу и все делал «по совести».

Для той же пропаганды Кравчинский написал и свои первые литературные произведения: «Мудрецу Наумовну» и «Сказку о копейке» [196], в которых поэтически изложил свои социалистические идеи. Странные это вышли сказки. Через 3—4 года их автор делал уже самые презрительные гримасы, когда ему

упоминали о них. Но в отместку заставлял свою близкую приятельницу Эпштейн любившую дразнить его этими сказками, немедленно сознаться, что как они ни были плохи, а все же многие, и она в том числе, проливали над ними слезы. И в самом деле, хотя в этих юношеских произведениях автор не успел еще справиться ни с собственной фантазией, ни с идеями, ни со способом их изложения, он все же выразил что-то, соответствовавшее восторженному настроению части его товарищей и способное, при первом чтении, вызвать слезы наиболее впечатлительных из женщин.

Полный жизни, которою заражал всех окружающих, художник по складу ума, идеализировавший, преувеличивавший хорошие качества своих приятелей и безмерно восхищавшийся ими, в то же время искренний, простой и ласковый, как ребенок, в своих личных сношениях с людьми, Кравчинский был общим любимцем и гордостью товарищей.

Не мудрено, что когда начались аресты, всем хотелось отправить за границу именно его. Но в то же время осесться в Европе он еще не мог. Воинственные стороны его натуры, жажда практической революционной деятельности брали в нем слишком сильный перевес над задатками литературного таланта. Удержать его подольше вдали от родины могла только перспектива вооруженной борьбы за симпатичную ему цель. Участие в такой борьбе, кроме своей непосредственной привлекательности, давало также возможность приобрести военную опытность, которая, по его убеждению, могла пригодиться на службе будущей русской народной революции.

Так он участвовал в Герцеговинском восстании, предшествовавшем русско-турецкой войне, и ему, как бывшему артиллеристу, была там поручена батарея.

В 1876 г. он был в Петербурге, где движение казалось сравнительно затихшим. Вновь образовавшаяся организация, прославившаяся впоследствии под именем «Земли и Воли», еще не успела тогда приобрести преобладающего влияния, а остатки чайковцев были заняты, главным образом, помощью многочисленным заключенным в тюрьмах пропагандистам. Наиболее живым делом представлялось устройство побегов из тюрем; в нем Кравчинский и принял деятельное участие.

Начало 1877 г. снова застаёт его за границей, в Италии, куда он взялся сопровождать одну больную приятельницу. Здесь он сошелся с группой итальянской молодежи, воспитавшейся под влиянием Бакунина и походившей во многом на русских революционеров того времени. Вместе со своими итальянскими приятелями он составил план вооруженного восстания, написал для них статью о приемах партизанской войны и вместе с ними отправился в итальянскую провинцию Беневенто, где решено было начать восстание в надежде, что к нему присоединится местное население. Эта надежда, однако, не оправдалась, и приезжие революционеры были почти тотчас же арестованы. Вместе с другими, Кравчинский просидел десять месяцев в итальянской тюрьме, из которой был освобожден в январе 1878 г. в силу амнистии, последовавшей за смертью короля Виктора Эммануила.

Переселившись в Женеву, он тотчас же принял самое деятельное участие в журнале «Община», а затем с первыми номерами этого журнала и с предложением издавать подобный орган в самой России он появился в последний раз «на жгучей мостовой Петербурга», как назвал он ее в каком-то из своих произведений.

Это было в мае 1878 г. Кравчинский приехал в самом радостном настроении и с твердым намерением, ни за что на свете не покидать русской борьбы «до конца».

То есть, до треста — замечали ему приятели, которым он заявлял о своем

решении.

— Нет, до победы! — возражал он с самой искренней уверенностью.

То, что застал он в Петербурге, могло, — в особенности, при его складе ума, — лишь усилить до последних пределов его уверенность к близкой победе. По сравнению с чайковцами, революционеры представляли теперь действительно значительную силу, отличаясь от них и в многих других отношениях.

Мы говорили о способности Кравчинского к идеализации. Но мы вовсе не хотим этим сказать, чтобы он видел в восхищавших его людях совсем не существовавшие в них качества. Он обладал, наоборот, своеобразным, но чрезвычайно тонким и быстрым чутьем, указывавшим ему верные черты, которые он затем лишь освещал таким ярким светом своего художественного восхищения, что они являлись преобразенными и отчасти преувеличенными. Он был убежден при этом, что он то именно и видит своих современников в том настоящем свете, в каком они появятся в истории, а от других самая близость людей и событий скрывает их настоящие размеры. В разговорах с самыми скептическими приятелями он не раз ссылался на мемуары одной из женщин французской революции, жаловавшейся, что между ее современниками нет крупных людей, соответствующих громадности совершающихся событий.

— А, ведь, теперь, — прибавлял он — при свете истории, современники госпожи Ролан кажутся нам гигантами.

В письмах близким приятелям за границу, сообщая впечатления первого знакомства с новыми для него в большинстве людьми, стоявшими теперь во главе русского движения, он проводил параллель между ними и его прежними товарищами, чайковцами. Его новые знакомые кажутся ему суше, уже, одностороннее чайковцев, но за то же они и крепче их, насколько закаленная сталь крепче тонкого фарфора. По преданности делу они никому не уступят, а по упорству в достижении намеченных целей, по практичности, опытности они настолько же превосходят чайковцев, как взрослые люди детей.

Параллель была в общих чертах несомненно верна. Но главную силу этих крепких и практичных людей, большинстве случаев нелегальных, т. е. скомпрометированных в прежних делах и живших под фальшивыми паспортами, составляло то обстоятельство, что среди общеброжения молодежи, не менее сильного, чем ввремя чайковцев, они образовали из себя прекрасно организованный тайный центр, приобретший над этой молодежью почти безграничное влияние. Организация имела также связи и пользовалась хорошей репутацией среди некоторой части рабочих Петербурга, с одной стороны, и в либеральном обществе, — с другой.

Рассылая своих членов по провинциям, она стремилась подчинить своему влиянию все рассыпанные по России революционные кружки и успевала в этом. Она имела правильно действовавшую тайную типографию, беспрестанно дававшую знать о себе какой-нибудь брошюрой, листком, прокламацией, и теперь приступившую к изданию газеты «Земля и Воля». Это название, перешедшее на всю организацию и приобретшее такую громкую известность, было предложено Кравчинским.

Положение, занятое организацией, могло действительно производить впечатление значительной силы даже на человека более скептического, чем был тогда Кравчинский. Революционная партия достигла теперь всей той, правда, хрупкой, призрачной, — как показали последствия, — силы, какой только могла достигнуть партия, опиравшаяся по необходимости почти исключительно на

интеллигентную молодежь, и имевшая возможность рассчитывать на рабочих лишь как на второстепенный, вспомогательный отряд.

Время последнего пребывания в России едва ли не было также самым сильным, ярким, самым богатым впечатлениями временем в жизни самого Кравчинского.

Его статьи этого года в «Общине», а затем в «Земле и Воле» совсем не похожи на обыкновенные газетные статьи. Это — «стихотворения в прозе», поэзия, настоящая сильная поэзия революции. За три года, прошедших с тех пор, как он писал свои сказки, Кравчинский сделал громадные успехи: формою он владел теперь прекрасно. От этих статей никто не мог бы, конечно, расплакаться. Не слезы вызывали они, это были крики торжества, предвкушение победы. При малейшей неискренности статьи в таком поднятом тоне неизбежно производят неприятное впечатление фразерства. Но в том то и была сила Кравчинского, что этот тон был в тот момент его естественным тоном, что его вера в близкое торжество партии была вполне искренняя и производила, поэтому, бодрое, хорошее впечатление.

Поэт и вместе воин, рыцарь по натуре, Кравчинский жил в это время всеми фибрами своей души, всеми сторонами своего существа. Среди революционеров в это время все более и более зрела мысль о том способе борьбы, который стал впоследствии известен под именем «террористического», о вооруженных нападениях на наиболее вредных и жестоких слуг деспотизма. Первое такое дело, предпринятое организацией, — против Мезенцова, шефа жандармов и, следовательно, главного преследователя революционеров — было поручено Кравчинскому.

Блистательно выполнив его среди бела дня на людной улице Петербурга и избежав немедленных преследований, он продолжал жить в том же городе, как ни в чем не бывало. Теперь дело шло о его голове. Приближенные Мезенцова открыли даже общественную подписку в пользу предателя, который выдаст, или шпиона, который выследит убийцу. Ни доноса, ни специального выслеживания бояться было нечего, от этого вполне охраняла организация, но она не могла охранить от случайного ареста, от последствий собственной неосторожности, а особенной осторожностью Кравчинский никогда не отличался. Опять явилось у всех сильнейшее желание выпроводить его из России. На этот раз говорило не одно личное, а также и общественное чувство. За последнее время все удавалось революционерам и ничего не удавалось полиции: их тайная организация в этот момент была, очевидно, лучше жандармской. Никто из прогремевших за последнее время людей не был арестован. Действовавшая более года типография, несмотря на большие суммы, назначенные на ее поимку, была цела, и на «Землю и Волю», почти открыто продававшуюся в Петербурге, была даже объявлена подписка «в местах и через лиц, публике известных». И это не было пустым хвастовством. Благодаря организации каждый из «публики», имеющий сколько-нибудь значительный круг знакомых, мог действительно добратся до лиц, имеющих отношение к «Земле и Воле», но ни в каком случае ни умышленно, ни по неосторожности не мог никого выдать. При таких условиях арест, казнь такого видного человека, как Кравчинский, была бы слишком большой удачей для правительства, подкосила бы радостную гордость партии. Всем хотелось успокоиться на этот счет. Но уговорить Кравчинского уехать добровольно в такой момент было немислимо. Прошло несколько месяцев, пока для него придумали, наконец, поручение за границу, по-видимому, очень важное, и выполнить которое всего лучше мог именно он. Кравчинский поехал в полной уверенности вернуться к выходу следующего номера «Земля и Воля», недели через три, через месяц самое

большее..., и уже не вернулся.

Раз он оказался в Швейцарии, друзья сумели создать ему тысячу препятствий для возвращения, обещая позвать его, когда условия будут благоприятны. Он ждал. Условия не улучшались, а становились, наоборот, все труднее.

Раз, впрочем, уже в царствование Александра III, когда большие потери, понесенные организацией «Народной Воли», — заменившей «Землю и Волю», — сделали очень важным для нее присутствие такого «старого» революционера, как Кравчинский, его позвали, обещая прислать все необходимое для возвращения. Он ответил радостным согласием; но пока он ждал обещанного, в России, последовала новая катастрофа, разбившая остатки старой организации и всякую надежду для Сергея скоро увидеть родину.

Потянулись долгие, серые годы изгнания. Он употребил их на упорный, непрерывный литературный труд. В числе его многих выдающихся способностей была необыкновенная способность к языкам. Познакомившись с итальянским языком еще в тюрьме, он теперь написал на нем самое известное из своих произведений «Подпольная Россия», ряд характеристик выдающихся революционеров, а также некоторых сторон их деятельности, переведенную почти на все европейские языки.

Он изучил потом английский язык и, с 1884 г. переселившись в Лондон, начал писать почти исключительно по-английски. В целом ряде книг публицистического характера он старался ознакомить английскую публику, с различными сторонами политической и общественной жизни России. Много упорного, добросовестного труда вкладывал он в эти книги, но не увлекался, не удовлетворялся ими: он в сущности насиловал для них свой талант, который тянул его в другую сторону. Эта работа казалась ему обязательной в виду поставленной им себе задачи: создать в общественном мнении Англии течение, враждебное русскому деспотизму и сочувственное русскому освободительному движению. Для этого же он читал лекции о России и писал статьи в газеты. И его усилия далеко не пропали даром. В бесчисленных статьях о Степняке, наполнявших английские газеты, в течение 10–15 дней после его смерти, не раз было указано на то, что своей деятельностью он повлиял на мнение о России некоторой части английского общества.

Успешности его усилий содействовали также многочисленные знакомства, дружеские связи, приобретенные им в различных слоях лондонского населения. Под влиянием дошедших из Сибири ужасных известий об избиении ссыльных в Якутске, о казни не оправившихся от ран жертв этого избиения, и наказании розгами политической заключенной на Каре, Сигиды, Кравчинскому удалось даже в 1890 г. образовать из англичан небольшое общество «Друзей русской свободы», издающее до сих пор газету, посвященную русским делам. Он писал также небольшие брошюры и предисловия для русского «Фонда Вольной Прессы в Лондоне».

Вся эта обязательная работа мешала ему сосредоточиться на той литературной деятельности, которая доставляла ему наслаждение и где, наверное, он мог бы достичь очень много.

По крайней мере, его первое и единственное крупное произведение этого рода, роман из жизни русских революционеров, русский перевод которого издается теперь его вдовой под заглавием «Андрей Кожухов», является несомненно самым значительным его произведением. Это в сущности единственное во всей русской литературе художественное воспроизведение жизни русских революционеров, сделанное человеком, знавшим эту жизнь. Действие романа схватывает именно

тот момент революционной борьбы, который Кравчинский так ярко пережил во время своей последней поездки в Россию.

Хотя в каждой строчке романа чувствуется горячая нежность автора к его героям, но тех слишком сгущенных красок, того восторженного лиризма, который замечался в его юношеских произведениях, здесь уже нет. И люди, и события являются в этом романе в их настоящем свете и размерах. Это — хорошее произведение, хотя ему и пришлось писать его в самых трудных условиях: на чужом языке, воображая перед собою чужих читателей, все привычки которых так резко отличаются от русских.

После этого романа ему удалось издать лишь небольшой рассказ, да осталась неизданной одна драма. Но планов относительно этого рода произведений у него было множество. Он все мечтал выгадать как-нибудь промежуток времени, свободный от всяких текущих обязанностей, чтобы целиком посвятить его художественному творчеству.

Хотя его жизнь была полна деятельности, хотя он достиг многого, тем не менее он еще не исчерпал, не развил до конца всех способностей, лежавших в его богато одаренной натуре, когда, по ужасной случайности, был убит, переходя полотно железной дороги, наскочившим поездом.

\*\*\* Мы отлично знаем, что этот краткий перечень событий его жизни не дает в сущности никакого понятия о всей величине утраты, понесенной нашей революционной партией, еще меньше говорит он о живой прелести его личности. Чтобы дать ее почувствовать читателю на нескольких страницах, несколькими штрихами, для этого нужно было его перо, перо самого Сергея.

Владимир Дегаев

В конце января или, в начале февраля 1882 г. в Женеву ко мне с Дейчем приехал Владимир Дегаев с поручением к Кравчинскому. Кравчинский был в Италии. По тогдашним итальянским условиям, его, как убийцу, могли выдать его адреса, поэтому, не знал никто, кроме 2–3 его ближайших друзей. Приезжаем юноше мы с Дейчем не только не дали адреса, но даже не сказали, что Кравчинский в Италии. Он тотчас же примирился с невозможностью видеть Кравчинского и не задавал никаких вопросов.

Симпатичный и совсем не застенчивый, он быстро познакомился со многими эмигрантами, но прилепился к Дейчу и то с ним, а иногда и один почти каждый день заходил ко мне.

На вид ему никто бы не дал больше 16 лет. Росту он был среднего, на детски чистом лице не было и тени растительности; в глазах и в манере, держать себя было еще что-то детское. Дейч прозвал его «Бебе», он не протестовал и даже записки подписывал «Ваш Бебе». Если его спрашивали, сколько ему лет, — а этот вопрос всем приходил в голову, — он на разные манеры отшучивался от ответа, пока не явился раз со свертками в руках и объявил, что теперь скажет, сколько ему лет: сегодня ему минуло 18, а раньше совестно было сознаться: 17 совсем неприличный возраст, а 18 — все-таки ничего.

Обедал Володя в знаменитом среди эмигрантов кафе Греосо, где в кредит — по большей части — столовалась большая часть тогдашней эмиграции. Там же обедала Анна Михайловна Эпштейн, знавшая в Петербурге семью Володи, о которой отзывалась с большой нежностью, как о людях, относившихся к революционерам с каким-то благоговением, с радостью готовых на всякую услугу. Вообще заботливая «Анка», как мы, близкие, звали Эпштейн, с заботой смотрела и

на Володю. Она нашла, во-первых, что он тратит сравнительно много денег, покупает лакомства и всех угощает, а затем она и другие заметили, что вслед за Володей около Грессо появились подозрительные субъекты и видимо за ним следят. У Анки явилась такая гипотеза. Родные Володи, люди очень небогатые, не могли послать его за границу, да еще с лишними деньгами; вероятно, послала; его организация с каким-нибудь поручением, требующим затрат— купить что-нибудь или, может быть, зовут Сергея в Россию, и деньги, ему послали, а Володя, не найдя его, деньги транжирит и еще ухитрился каких-то шпионов себе прицепить. Она негодовала не на Володю, а на предполагаемых старших, которые послали с серьезным поручением такого «недолизанного медвежонка». Но она видела Володю только у Грессо, в большой пестрой кампании. У меня же сложилась о нем другое впечатление, не мирящееся с ее гипотезами.

Несмотря на всю свою чрезмерную юность, когда он говорил о чем-нибудь, касающемся «Народной Воли», чувствовалось, что это не птенец, поглядывающий на дело из туманной дали, а настоящий радикал, уже имеющий совершенно конкретное представление о положении народовольчества, относящийся к делу очень серьезно и отдавшийся ему целиком.

Я передала Володе Анкины наблюдения, но умолчала разумеется, о гипотезах. Насчет трат Володя тотчас же согласился, даже не давши договорить:

— Совершенно верно, — я уж и то хотел вас просить спрятать мои деньги и выдавать мне только на самое необходимое. Я очень люблю сладкое, особенно пастилу, а когда куплю, конечно, я угощаю.

Скоро после этого пришел ко мне Дейч, и сразу объявил:

— Знаешь, наш Бебе, — агент Судейкина, — второй Клеточников!

— Что за ерунда!

— Вот увидишь, он сейчас придет и сам расскажет. Я сказала, что ему и самому; не поверю. Но пришел Володя, начал рассказывать и пришлось поверить.

Не совсем так, как рассказано у Корбы [217], сообщил Володя об обстоятельствах своего притворного союза с Судейкиным. Я отчетливо помню его рассказы: своей странностью, своей жестокой нелепостью эта история произвела на меня сильное впечатление. Да и не раз говорил об этом Володя...

При освобождении от какого-то пустячного ареста, Судейкин предложил ему поддерживать с ним сношения: о предательстве не может быть и речи, — об отдельных лицах он его и спрашивать не желает: ему необходимо знать о взглядах революционеров на положение дел, об их ожиданиях, об изменениях настроения. Володя отказался от этих беседований, не ему, таким образом, пришлось в голову превратиться в Клеточникова. Смеясь над предложением Судейкина, он рассказал о нем в семье. Только старшим, народовольцам, мнение которых было для, него законом, пришлось в голову использовать, таким образом, предложение Судейкина.

Володя с полной готовностью взялся за эту миссию и заявил Судейкину, что, подумавши, соглашается на его предложение. При первом свидании речь опять шла преимущественно о том, что ни прямо, ни косвенно, сношения с ним Володи не доведут к аресту кого бы то ни было. Судейкин с большим чувством давал в этом свое честное слово. При одном из первых же свиданий он предложил денег, Володя отказался. «Без денег я себя лучше с ним чувствовал», — пояснил он. Но старшие нашли, что отказ от денег внушит недоверие Судейкину, и велели взять: Володя опять отправился заявлять, что по зрелом размышлении изменил свое мнение.

Не помню, какое содержание назначил ему Судейкин — цифра, во всяком случае, не поражала своими размерами ни в ту, ни в другую сторону.

— А как вы объясните своим родным появление у вас лишних денег? — поинтересовался Судейкин.

Володя сказал, что еще не придумал объяснения. А Судейкин уже придумай: — Скажите, что нашли переводную работу: я вам дам одну книгу, — будете переводить понемногу.

И, действительно, дал, — Володя назвал ее, — книга совершенно нейтральная, приличная, которую всякий взял бы переводить, нуждаясь в заработке.

Затем пошли свиданья довольно частые. Слушая рассказы о них Володи я не замечала, чтобы они были для него тяжелы. Судейкин, по-видимому, заботился о том, чтобы этого не было. Впоследствии он завел себе целую коллекцию таких притворных и непритворных агентов из среды революционеров, но возня с Володей была, по-видимому, его первой, во всяком случае одной из самых первых попыток в задуманном направлении. И он занимался ею осторожно, старательно, с любовью к делу, так сказать. Что до тех пор никакой пользы из его разговоров с Судейкиным не получилось, это Володя, конечно знал и не умел (быть может, не хотел, но едва ли) привести ни одного соображения относительно возможной пользы в будущем; но его революционная совесть была спокойна: дело старших принимать решения, — он и говорил то с Судейкиным не иначе, как под диктовку старших. Из-за этого он и нам с Дейчем открыл свою тайну, — с этого и начал.

Настоящих, действовавших народовольцев, — агентов «Исполнительного Комитета» — в начале 1882 года за границей не было. Лишь в марте или, в апреле, кажется, приехала Марья Николаевна Ошанина. Отправляя Володю, старшие (мне помнится, он назвал Грачевского) направили его к Кравчинскому, ему должен он был открыться и с ним намеревался советоваться. Но Кравчинского он не нашел и не искал после первого же нашего, ему отказа в адресе.

Между тем пришло письмо от Судейкина с вопросами о заграничных впечатлениях. С кем посоветоваться? Мы были для него чужими старшими, но в это время мы находились в самых дружеских отношениях с «Народной Волей» я даже в обязательных — по «Красному Кресту», и он решил открыться нам.

Но, видно, тяжело было юному созданию носить свою тайну без единого человека, с которым можно было бы поговорить о ней. После признания, его точно прорвало: несколько дней он ни о чем говорить не мог, кроме своих сношений с Судейкиным.

Судейкин, кажется, кокетничал с Володей, старался очаровать его. На свиданиях он сам говорил едва ли не больше, чем заставлял говорить Володю. Я слыхала рассказы о Судейкине не от одного Володи, и мне, поэтому, трудно отделить, что я слышала: от него и что — от других. Уверена лишь в тех разговорах, где помню Володины ответы на слова Судейкина или его соображения по их поводу. Живо помню, например, такой рассказ.

Судейкин внушал Володе, что он мог бы заставить забыть свою крайнюю, молодость и подняться на высшую ступень в революционной организации, если бы высказывал свой революционный энтузиазм, говорил о своей жажде страдать за дело, пожертвовать за него жизнью.

— Я ответил ему, — говорил Володя, — что этим я достиг бы как раз обратного: меня бы только осмеяли. Свой энтузиазм революционеры проявляют на деле, но никогда о нем не говорят, они ненавидят всякое фразерство.

Судейкин выразил до этому поводу свой восторг перед революционерами. Он, вообще, не скупился пред Володей на этот восторг и пред революционерами, и

пред деятельностью, — не пред целью ее и не пред результатами, конечно, а пред самым процессом деятельности. «Какая это чудная, интересная жизнь с вечными конспирациями, приключениями, опасностями!». Если ему нравится его собственная деятельность, то только тем, что в ней тоже много и приключений, и опасностей.

Если Судейкин хотел понравиться Володе, то до некоторой степени он этого достиг: Володя считал его очень умным, смелым, изобретательным.

— Сколько бы он мог сделать, если бы был революционером! — помечтал раз Володя.

Мне приходило в голову, не в эту ли западню думал Судейкин загнать Володю? Зачем возился он с ним несколько месяцев? С первых же свиданий ему должно было стать ясным, что ни деньгами, ни угрозами из Володи предателя не сделаешь, да Судейкин и не пытался его запугивать. И пробалтываться Володя мог меньше, чем иной взрослый. Именно сознание своей чрезмерной юности мешало ему пускаться в плавание за своей ответственностью.

Конечно, и Дейч, и я с первого же дня начали убеждать Володю отказаться от своей нелепой, опасной Миссии. Мы ему советовали остаться на время за границей, а лотом вернуться в Россию нелегально. Володя не пускался в споры и противопоставлял всем убеждениям только одно:

— Не могу я этого, — нельзя...

Раз помню, в сумерках, Володя опять разговорился о Судейкине.

— Вот вы говорите, что он умен, — сказала я. — Предположим, что вы также умный, но он, по меньшей мере, вдвое старше вас, в десять раз больше людей видал и лет 10 только о том и думает, как революционеров уловлять, — ну как же можно допустить, чтобы при этих условиях вы из него пользу извлекли, а не он из вас? Что мы с вами не можем придумать, каким образом он ее извлечет, это ничего не значит. Мы не можем! а он уж, очевидно, придумал: ведь он же изобретателен. Я зажгла свечу и тут только взглянула на Володю: его лицо выражало страдание, вздрагивающие губы что-то шептали.

— Что? — переспросила я.

— Если так, если он... я убью его, — шептал Володя. После этого у меня духа не хватало продолжать мучить его такими речами, да и действительно, решить сам, не спросив своих старших, он не мог.

Весной Володя уехал в Париж, — там в это время уже была Мария Николаевна Опанина. Оттуда он скоро известил нас, что уезжает в Россию.

Летом приехал Тихомиров. Я спросила его о дальнейшей судьбе Володи и помню его ответ с буквальной точностью — очень удивил он меня.

— Приехав из-за границы, — рассказал Тихомиров, — Володя по-прежнему явился к Судейкину. Тот встретил его словами: «Полноте, Владимир Петрович, довольно мы с вами друг друга морочить старались! Ни вы мне никогда не верили, ни я вам, — так лучше перестанем», — и отпустил Володю без всяких последствий. Сергей Кравчинский, когда я рассказала ему об этом, даже похвалил Судейкина.

— Это зверь, конечно, тигр, — сказал он, — но не гиена, не волк, который и тогда режет добычу, когда она ему не нужна.

## «Вольное слово» и эмиграция

Давно уже длится полемика о происхождении издававшегося 30 лет тому назад журнала «Вольное Слово», и, в связи с занимающим их вопросом, авторам нередко приходилось говорить мимоходом о политической эмиграции того времени. В ноябрьской книжке «Русской Мысли» за прошлый год, г. Кистяковский посвятил даже отношению эмиграции к «Вольному Слову» целое якобы исследование, обставив его обширными цитатами из тогдашней литературы. Но тут-то именно у г. Кистяковского и получилась такая фантастическая картина, что у меня эмигрантки, прожившей в Женеве все время, пока выходило «Вольное Слово», — явилась потребность заступиться за истину. Не успев немедленно же удовлетворить ее, я попытаюсь сделать это теперь.

Г. Кистяковский, с документами в руках, изображает ожесточенную травлю, поднятую революционной эмиграцией против «Вольного Слова» чуть не с момента его появления, и видит причину этого ожесточения в конституционном направлении нового журнала и его выступлениях против террора.

Изложение г. Кистяковского имеет так много признаков внешней убедительности для каждого незнакомого с эмиграцией начала 80 годов, что даже г-жа Прибылева, прекрасно знающая революционную среду того времени, но не бывавшая за границей, не усомнилась в подлинности «травли» и кг смогла примириться лишь с объяснением ее причин, даваемых г. Кистяковским.

Г-жа Прибылева справедливо возражает ему, что несогласием во мнениях нельзя объяснить такой единодушной вражды, тем более, что, по словам самого же г. Кистяковского, травля началась раньше, чем «Вольное Слово» успело проявить себя на почве борьбы с террором, или защиты конституции. Должна была существовать другая причина, говорит г-жа Прибылева, и ищет ее в сохранившихся в ее воспоминании данных о том, что, по сообщениям Клеточникова, еще в 1880 году министерство внутренних дел, при помощи III отделения, выработало проект реновация в Женеве газеты конституционного направления для борьбы с революционерами, а позднее, но в том же 1880 году, от того же Клеточникова стало известно, что газета эта будет называться «Вольное Слово», и что лицо, посланное для издания газеты, уже ведет в Женеве переговоры с Драгомановым. Тотчас же после этого второго сообщения «Исполнительным Комитетом» было отправлено Драгоманову письмо с предупреждением о том, кем и для чего основывается газета, но Драгоманов не придал извещению никакой цены. Такое же извещение было одновременно послано и Лаврову. Г-жа Прибылева предполагает, что этот план, почему-то не осуществившийся в 1880 г., был; приведен в исполнение в 1881 г. изданием «Вольного Слова». Таким образом, — говорит в заключение г-жа Прибылева, — сообщения Клеточникова и оповещение о них, исходившие от Комитета, служили первоисточником тех взглядов на «Вольное Слово», которые установились в эмигрантской среде еще ранее, чем газета стала выходить в свет.

Само по себе зарождение такого плана будущего органа в недрах министерства внутренних дел ничуть не кажется мне более невероятным, чем целая масса других, накопившихся вокруг «Вольного Слова», фактов и предположений, в особенности если допустить, что забытое г-жой Прибылевой имя лица, ведшего переговоры в 1880 г., было не Мальшинский, а какое-нибудь другое.

Но я знаю, наверное, что сведения «Комитета» о полицейском происхождении

«Вольного Слова» не проникали в среду эмигрантов ни через Лаврова, ни иным каким-либо путем.

О Мальшинском, но только о нем, о его; прошлом, без всякого указания на происхождение «Вольного Слова», мы, — чернопеределъцы, — действительно, получили известие из народовольческого источника. В конце 1881 или в начале 82 года, товарищ, уехавший в Россию и там присоединившийся к «Народной Воле», написал нам, что по имеющимся у партии сведениям, Мальшинский служил в III отделении и, что об этом следует сообщить Драгоманову. Товарищ сделал это с ведома своих новых товарищей, но не по поручению «Исполнительного Комитета», а по собственной инициативе, доброжелательства к Драгоманову. Я сообщила это известие Драгоманову, и он, без малейшего удивления, совершенно спокойно, ответил мне, что давно знает, что Мальшинский, действительно, служил (или «работал» ... не помню, как он выразился) в архиве III отделения, но ни к какому сыску не имел ни малейшего отношения.

В дальнейшем разговоре Драгоманов сказал мне, что «Вольное Слово» не его орган (как многие думали) и не Мальшинского, а... я не помню, сказал ли Драгоманов «земского союза» или просто «земцев», но нечто земское, во всяком случае, было упомянуто. Я и теперь живо помню мину Драгоманова, когда в ответ на мое замечание, что в вышедших номерах «Вольного Слова» нет ничего или почти ничего о земстве, он, чуть-чуть улыбаясь и пожав плечами, ответил: «Да что же наше земство! Что с него взять».

Из этого разговора я вывела то заключение, что беспокоиться насчет Мальшинского нет никакой надобности, так как Драгоманов, очевидно, знает, в чем тут дело, и не беспокоится. Такое заключение вывела не только я, относившаяся к Драгоманову с большой симпатией, но также и Дейч, бывший с ним в ссоре.

Никому, кроме близких товарищей, мы о Мальшинском не рассказали, и сведения о нем, напечатанные позднее в «Общем Деле», шли не от нас [235]. Доверие не к одной только политической честности Драгоманова, но также к его уму, практичности, наблюдательности, заставляло допускать, что Мальшинский служил в III отделении с целями, чуждыми этому учреждению, и остался честным человеком. В тот момент мысль мирилась с таким предположением легче, чем в другое время. Свежо было еще впечатление спасительной миссии Клеточникова, и мы знали, как усиленно пытаются народовольцы найти ему заместителя. В это именно время чуть не ежедневно заходил ко мне тогда в Женеве Владимир Дегаев. К его-то миссии я относилась самым отрицательным образом, и мы с Дейчем употребляли все силы, чтобы уговорить «Володю» порвать с Судейкиным и остаться за границей.

Правда, Клеточниковы спускались в преисподнюю, чтобы спасти товарищей. Такой цели не могло быть у Мальшинского, но и архив место менее глубокое.

Чем же объясняется единодушная «травля», поднятая эмиграцией против едва появившегося «Вольного Слова», о которой говорит г. Кистяковский?

Ее просто не было [236]. Г. Кистяковский сам себя обманул, знакомясь с занимавшим его вопросом по беспорядочной куче печатного материала, половину которого серьезная часть эмиграции почти не читала даже тогда, когда он появлялся. Г. Кистяковскому кажется, что этот материал, собранный им с целью выяснения «ошибок» г. Богучарского, интересен и сам до себе, «так как представляет чрезвычайно интересную страницу из истории борьбы представителей крайних революционных направлений и партий с чистыми

конституционалистами».

Г. Кистяковский знает, что газета «Общее Дело», которую он цитирует, ставила своей главной задачей борьбу за политическую свободу, но он совершенно не знает положения этой газеты среди эмиграции. Начала она выходить в 1877 году, когда никто в эмиграции о политической свободе еще не думал. Стало «Общее Дело» в сторонке, да так и осталось. Никто на него не сердился, никто не считал зазорным поместить в нем то или другое заявление, раз это было нужно, а своего органа не было, но в общем ни сторонников, ни противников в революционной эмиграции у него не имелось. Его негласного редактора, жившего на юге Франции, доктора Белоголового — никто не знал. Поведение «Общего Дела» по отношению к «Вольному Слову» всего легче было бы объяснить при помощи «Исторической справки» г-жи Прибылевой, если бы, и эта «справка» отвечала действительности. Почему, в самом деле, всегда скромное, осторожное «Общее Дело» вдруг в первом же №, вышедшем после появления «Вольного Слова», задает новому органу ехидный вопрос: как относится он к графу Игнатьеву? И затем настойчиво внушает своим читателям ту мысль, что «Вольное Слово» является органом министра внутренних дел Игнатьева. Но если допустить, что план издания конституционного журнала в Женеве был выработан министерстве внутренних дел еще в 1880 году, при Лорис — Меликове, то объяснение само собой напрашивается. Осенью 1881 г. опальный сановник жил за границей, и, естественно, с первого же взгляда на новый журнал должен был узнать в нем осуществление выработанного при его министерстве плана и приписать это осуществление своему врагу и преемнику графу Игнатьеву. А доктор Белоголовый лечил Лорис — Меликову и находился с ним в приятельских отношениях. Как бы там ни было, но выступление «Общего Дела» нельзя ни в каком случае доставить на счет революционным направлениям и партиям, ибо они просто-таки пропустили эти выступления мимо ушей.

Свои подозрения «Общее Дело» — да внешности, но крайней мере, — выводило из анализа содержания «Вольного Слова», из его резкого отношения к павшему Лорис — Меликову и снисходительно находящемуся у власти Игнатьеву. Если бы мы знали, откуда черпает «Общее Дело» свои рассуждения, мы ими, вероятно, заинтересовались бы; а так казалось, что — хорошие, конечно, люди Христофоров и Зайцев (гласные редакторы журнала), но откуда им знать, когда какого министра и какими словами обругать следует? За Лорис — Меликова мы не обижались и в придворную политику не вникали.

Приблизительно таким: образом отнеслось к походу «Общего Дела» и основное гнездо эмиграции, как таковой: группа старожил, поселившихся в Швейцарии в 60-х годах, Жуковский, Эльсниц, Жеманов, около которых ютились и другие бесприютные эмигранты. В руках этой группы было эмигрантское общество [238] с его кассой, они же улаживали отношения эмигрантов с женевскими властями. По своим воззрениям старожилы были анархистами того времени, когда с представлением об анархии не было еще связано ни бомб, ни выстрелов, ни даже вообще какой-нибудь определенной тактики.

Вообще в первое время «Вольное Слово» казалось неинтересным, но и только; его враждебность к террору не замечалась. Часто цитированные потом строки из статьи Мальшинского в № 8 относительного уголовного характера взрыва полотна жел. дор. под Москвой и кордегардии Зимнего дворца не сразу обратили на себя внимание.

Никто из представителей революционных направлений и партий не отозвался на

подозрение, высказанное «Общим Делом», но заговорил Алисов.

Повторив в более категорической и хлесткой форме обвинение, высказанное «Общим Делом», и прибавив кое-что от себя, Алисов пишет в заключение фразу, удостоенную в цитате г. Кистяковского курсива: «В несколько минут террористы сделали то, что не могли бы сделать во сто лет наши пресмыкающиеся смиренные либераль».

На основании этой фразы, да одного нелепого мнения Зайцева, г. Кистяковский решается на такое философско-историческое обобщение: «Но бывают исторические моменты, когда именно такие (как Алисов и Зайцев) люди, а иногда даже просто маньяки и психопаты, становятся во главе политических движений и создают общественное мнение. Приблизительно такой момент и переживала в то время русская политическая эмиграция».

Вот до чего доводит желание написать страницу из истории эмиграции, не зная о ней ровно ничего, кроме груды макулатуры за один год и по одному вопросу. Хочет человек характеризовать, на основании собранного им материала, борьбу представителей крайних партий и направлений против конституционалистов, а как на зло, в огромном большинстве случаев авторами самых «интересных» цитат являются все люди, ни партий, ни направлений не представлявшие, а в иных случаях и ровно ничего не представлявшие. Взять хоть бы Алисова. Жил он себе в прекрасной вилле на берегу Средиземного моря, ни одного революционера, кажется никогда в глаза не видел, но имел одну манию — писать брошюры. Сотни он их написал за восьмидесятые годы. В литературную критику редко пускался, больше писал о министрах, а самой любимой его темой был один физический недостаток Победоносцева. Человек он, должно быть, добрый, и наши голодные наборщики радовались его заказам, так как платил он хорошо, но распространять его произведения, и они не решались. Никто их не продавал, не читал, и не было, мне кажется, ни одного эмигранта, который не обиделся бы, если бы его сравнить с Алисовым, как писателем, а г. Кистяковский взял, да и поставил его «во главе». Так пишется история!..

За Алисовым у гр. Кистяковского следует Черкезов. Об его брошюре, как одном из проявлений борьбы партий и направлений с чистыми конституционалистами, можно, я думаю, не говорить. Сам г. Кистяковский сообщает, что вдова М. П. Драгоманова писала ему, что эта брошюра весьма скоро после появления была изъята из продажи и уничтожена. Г. Кистяковский думает, правда, что эмигранты обманули Драгоманова, так как брошюру «и теперь легко приобрести за одну или две марки». Но припомнив, как не легко и не дешево приобретаются те издания, которых лет тридцать тому назад никто не уничтожал, а все читали, г. Кистяковский быть может понял бы, что самая легкость приобретения брошюры Черкезова доказывает, что в свое время она была «уничтожена» тем единственным способом, каким это было удобно. Разумеется, ее не сжигали, а просто свалили в каком-нибудь углу, где лет через двадцать ее и открыл какой-нибудь предприимчивый господин и пустил в продажу в качестве старого курьеза.

За цитатами из брошюры Черкезова г. Кистяковский перепечатывает целую статью из газеты «Правда», в виду ее «чрезвычайно интересного и характерного содержания». К картине «борьбы с чистыми конституционалистами» статья прибавляет драгоценные черты. Она направлена против «Вольного Слова». Его влияние пагубно, мол, потому, что народное представительство, даже самое жалкое, вырвет почву у социальной революции, обеспечит государству внешнее могущество и внутреннее преуспеяние, примирит буржуазно-либеральные слои

общества с существующим социальным строем и отсрочить на неопределенное время назревшую социальную революцию. Потому-то конституционализм должен быть признан ядом для нашей интеллигентной молодежи, а проповедники — Иудами.

Может показаться, что «Правда» своеобразным образом конституцию проповедует. Эмигранты де сразу догадались о провокаторском характере «Правды», но что это издание нелепое, странное, чуждое какому бы то ни было направлению в России — это почуяли с первых же номеров. Ведь в то время поле революционного движения было так не велико, что каждый, пробывший два-три года в той или другой нелегальной организации, знал его вдоль и поперек.

Г. Кистяковский выслушал два компетентных и независимых — одно от другого показаний: Лаврова в книге г. Богучарского и Драгоманова, которые приводит сам, о том, что «Правда» никакого влияния не имела, но г. Кистяковский все-таки думает, что она оказывала некоторое время влияние на общественное мнение русской политической эмиграции. Заключает он это из того, что в ней сотрудничали такие революционеры как Сидорацкий, Григорьев и Черкезов. Говорить о влиянии таких юродствующих эксцентриков, как Тидорацкий и Григорьев, можно лишь с тем же основанием, как и о главенстве Алисова. Другое дело Черкезов. Влияния не имел и он, но его все знали в эмиграции и относились к нему дружелюбно. Мне кажется, что на нем разочарование в Драгоманове отозвалось сильнее, чем на ком бы то ни было.

Когда летом 1878 года я приехала в Женеву, Драгоманов стоял в центре эмиграции. К нему первому вели каждого вновь приехавшего; у него по воскресеньям собиралась чуть не вся эмигрантская колония: он принимал деятельное участие во всем, касавшемся эмиграции. Его крайний «федерализм с автономией земских единиц, начиная с общины», казался близким к анархии. Анархист Черкезов, дававший уроки дочери Драгоманова, был завсегдаем в его доме, своим человеком в его семье, и относился к нему с величайшей преданностью и уважением, не сомневаясь в его анархизме. В его позднейшем отношении к Драгоманову сказала, по-видимому, кроме прямолинейности и кавказской горячности, еще и оскорбленная преданность. После неудачи с опубликованием брошюры, он сунулся, очертя голову, в нелепую «Правду», потом исчез куда-то, кажется на Кавказ ездил.

Длинной цитатой из «Правды» кончается часть страницы из истории борьбы с конституционалистами на которой г. Кистяковский, вместо представителей революционных партий и направлений, цитирует авторов, либо никого не представлявших, либо представлявших нечто совершенно отличное.

У него остается еще два документа, действительно принадлежащих представителям двух направлений: наше «Открытое письмо Драгоманову», вышедшее в мае 1882 года, и библиографическая заметка в «Календаре Народной Воли», появившаяся на год позднее.

Сам г. Кистяковский признает, что враждебного отношения к конституционализму «Вольного Слова» в Календаре не замечается. Вся несомненная враждебность отзыва вызвана борьбой этого органа с «социально-революционной партией» и, главным образом, характером этой борьбы. «Не довольствуясь, — говорит автор (по-видимому, сам Тихомиров), — критикой ее деятельности, „Вольное Слово“ нередко старается ронять репутацию социально-революционной партии совершенно несправедливыми и голословными обвинениями».

«Голословными и совершенно несправедливыми обвинениями» было вызвано и наше «Открытое письмо г. Драгоманову». Г. Кистяковский говорит, что оно было подписано «вождями чернопеределъцев», самую сплоченной и в известном смысле самую влиятельную группу среди тогдашней русской политической эмиграции; в другом месте своей статьи он сообщает, что «письмо это направлено больше против Драгоманова, как федералиста-украинца и противника централистических революционных партий, чем против него, как ближайшего сотрудника; а позже редактора „Вольного Слова“.» Но из всех перечисленных г. Кистяковским печатных проявлений борьбы с чистыми конституционалистами наше письмо оказалось единственным «документом», из которого он не привел ни строчки. В виду такого упущения со стороны г. Кистяковского, я приведу здесь все существенное из нашего письма сама. В этом письме нами были сформулированы Драгоманову вопросы по пунктам, которые буквально гласили следующее:

«Мы уверены,

Что, указывая на „сравнительно большой процент предателей во всех русских политических процессах последнего времени“ (курсив здесь и далее подлинника), вы, единственно по недостатку места, не объяснили, с какой именно эпохой и каким именно движением сравниваете вы современное русское Движение; теперь мы надеемся, что вы выскажетесь обстоятельнее.

Что вы не откажетесь назвать те, действующие в России революционные кружки, которые сделались известны вам „мелочной грызней, интригами, взаимными обманами и клеветой“.

Что вы укажете на известные вам случаи „истребления и умышленного запрятывания публикаций, изданных не нашими“.

Что для большей „поучительности“ вы не откажете объяснить, на чем основываете вы вашу уверенность в том, что

„Гольденберг по принципу в качестве социалиста-народника“ убивал „политиков-террористов откровениями перед Лорис — Меликовым“.

Что вы не оставите своих читателей в неизвестности относительно того, в каких именно „кругах“ видите вы „признаки своего рода придворных нравов“ и каким образом узнали вы: о существовании этих нравов.

Что вы потрудитесь назвать тех из „вчерашних федералистов и анархистов“, которые обратили на себя ваше внимание своим „безмолвием и поддакиванием централистической государственности“ „Исполнительного Комитета, „стремлением помазаться его славою и т. п.“»

Вам известно, милостивый государь, при каких условиях живут и действуют социалисты-революционеры в нашем отечестве. Вы знаете, что нападки и обвинения сыплются на наших товарищей со всех сторон, и не пожелаете присоединиться к хору тех, которые посылают им упреки, не заботясь об их основательности.

Мы уверены поэтому, что вы удостоите нас ответом на поставленные нами вопросы...

С своей стороны мы употребим все усилия для выяснения истинного значения приводимых вами примеров.

Это «открытое письмо» Драгоманову было подписано Аксельродом, Бохановским, Дейчем, Плехановым и мною.

Ответ со стороны Драгоманова не последовал.

Теперь пусть скажет г. Кистяковский, — есть ли в этом «документе» хоть гран

вражды к Драгоманову за его «конституционализм»? Так пишет г. Кистяковский свое исследование...

Содержание дальнейших выходов «Вольного Слова» по адресу социалистов стерлось из моей памяти, но я живо помню, что они были.

Одну из них напомнил мне г. Кистяковский, перепечатав в «Страницах прошлого» часть статьи из 41 номера «Вольного Слова», начинающеюся «циркуляром» Судейкина об «активном воздействии на революционную среду». Приведем пункты этого «циркуляра».

1) «Возбуждать помощью особых активных агентов ссоры и распри между различными революционными группами.

2) Распространять ложные слухи, удручающие и терроризирующие революционную среду.

3) Передавать через тех же агентов, а иногда помощью приглашений в полицию или кратковременных арестов, обвинения наиболее опасных революционеров в шпионстве».

Затем в статье говорится, что Судейкин, «выдавая себя за „чернопередельца“, собирается издавать „Черный Передел“ и уже начал печатать подделку № 10 „Народной Воли“». А потом, вслед за приглашением к джентльменству, могущему парализовать козни Судейкина, говорится: «Чтобы наши слова были более понятны малопосвященным, мы намекаем на некоторые подробности. Нам известны примеры не только заподозрения, но даже убийства, заподозренных по весьма недостаточным основаниям». (Курсив мой).

Известие было бы «удручающим», но, к счастью, всем известно, что с начала 1881 года по июнь 1882 г., когда вышел № 41 «Вольного Слова», за исключением Прейма в Петербурге, ни один шпион или предатель убит не был. Не до них было в ту пору Исполнительному Комитету.

Мне кажется подозрительным и самый «циркуляр». Я не уверена, что он предназначался для руководства чинам полиции, а не для чтения революционерам. Судейкин, разумеется, и на революционеров клеветал, и слухи распускал по мере сил и возможности. Он, вероятно, обсуждал все это со своими ближайшими помощниками, но зачем тут циркуляр? Все это такие вещи, которые требуют особых приемов, индивидуальной отделки в каждом отдельном случае; едва ли Судейкин был слишком высокого мнения о полицейских умах, кроме своего собственного. А с другой стороны, он давно уже приискивал себе Дегаева, щедро рассыпая приглашения в сотрудники, и хватался то за того, то за другого, пока не делал на настоящего. Ловко распространенный в революционной среде «циркуляр», свидетельствующий устами самого Судейкина о его намерении «выдавать опасных революционеров за шпионов», мог послужить хорошим прикрытием действительному предателю. Вспомним, сколько пользы извлек Азеф из этой идеи.

Что «циркуляр» попал на страницы «Вольного Слова», по желанию самого Судейкина — это, разумеется, только мое предположение, но, что кто-то, и по всему вероятно именно Судейкин, «запускал лапу» не в одни только «революционные организации в России», а также и в конституционный орган «Вольного Слова» в Женеве, это для меня, несомненно. Непонятно только, какими способами ухитрялся он это делать. Мальшинского, кто бы он ни был, для этого мало. Как бы сильно не доверял Драгоманов его порядочности, он не мог считать его, маленького литератора, живущего в Женеве, лицом, достаточно осведомленным в полицейских тайнах. Сведения должны были приходиться из

Петербурга и притом от лица, или лиц, которых — при полнейшем доверии к ним— Драгоманов считал стоящими в таком положении, при мотором полиция не может их обманывать.

Вспоминается мне такой случай. Это было кажется, осенью 82 года. Отношения с Драгомановым настолько испортились, что при встречах на улице мы едва кланялись, а чаще старались не замечать друг друга. Но раз Драгоманов неожиданно остановил меня на улице и сообщил мне только что полученное им очень неприятное для нас известие об одном будто бы факте. Успокоила себе я тем, что с одной стороны, известие было совершенно невероятное, а с другой— я вообще изверилась в правдивости Драгомановских известий из мира революционеров. Поэтому, ни минуты не колеблясь, я сказала Драгоманову, что известие ложно, что его обманывают. Он заявил, что вполне уверен в правдивости своего корреспондента. — Тогда вашего корреспондента кто-то обманывает, — сказала я, и на этом разговор оборвался.

Поговоривши с Дейчем, мы нашли, что этого мало; что надо бы попытаться узнать источник известия, или хоть убедить Драгоманова потребовать от своего корреспондента каких — нибудь доказательств верности сообщения известия. Я письмом попросила Драгоманова прийти в кафе. Он пришел, указать источник сообщенного известия отказался, но обещал списаться со своим корреспондентом и сообщить его ответ. Проходили месяц за месяцем, ответа не было. Так как Драгоманов своего известия не распространял, то я и не тревожила его вопросами. Затем мы сочли окончательно известие ложным.

Прошло 2 или 3 года. Давно прекратилось «Вольное Слово». Уже не было в живых Судейкина. Раз я была у кого-то из русских; в одном пансионе, где несколько номеров было занято соотечественниками, сплошь легальными, приехавшими на короткое время. В номер, где я была, зашла из другого номера одна знакомая и увела меня к себе, сообщив, что у нее сидит гость, который рассказывает любопытные вещи. По ее приглашению гость (хорошо одетый молодой человек лет под 30) возобновил свой рассказ об интересном уроке, который ему попался.

Шувалову, по случаю закрытия «охрань», после этого закрытия было приказано «заболеть». Он не показывался в свете, поселился за городом и взялся за изучение не то химии, не то физики, а в учителя к нему попал по рекомендации своего профессора рассказчик.

Первое время его ученик действительно занимался, а, познакомившись ближе, стал проводить все больше и больше времени в разговорах. Он передавал что-то из этих разговоров о том, как охрана хотела добиться конституции, — но ничего поразительного в его передаче должно быть не было, так как никаких подробностей у меня не осталось в памяти, или их вытеснил следующий эпизод, заинтересовавший меня сильнейшим образом и запомнившийся мне во всех подробностях. Раз во время урока было получено письмо. Ученик тут же прочел его и заговорил по его поводу.

— Письмо от Драгоманова, просит доказательств, а сами посудите, какие могут тут быть доказательства. Я встретился на одном обеде с Судейкиным; он, по обыкновению, принялся рассказывать эпизоды из своей практики. Кое-что из его рассказов я написал Драгоманову, а он рассказал эмигрантам. Те теперь требуют с него доказательств, а он с меня.

Я постаралась выяснить время получения письма, оно совпадало с нашим последним разговором с Драгомановым. Но ничего дальше выяснить не удалось. Сообщал ли Шувалов Драгоманову, откуда получает он свои сведения? Верил ли

он сам в их правдивость? Ничего этого мой собеседник не знал, но сказал, что, по его мнению, на подлость Шувалов не способен. Но роль Судейкина здесь ясна. Он ловко ввертывал дружинникам всякого рода вымышленные известия и «документы», которые могли повредить революционерам. Судейкин знал или предполагал, — в чем и не ошибся, — что его собеседник находится в сношениях с Драгомановым и может сообщить последнему узнанные им от Судейкина «новости» из революционного мира, а Драгоманов их, — напечатает или передаст эмигрантам. Так оно, видимо, в случае, который мне припоминается, и вышло...

Вопрос о происхождении «Вольного Слова» не ясен по-прежнему, и самая разработанная из предложенных гипотез — г. Богучарского — все-таки оставляет впечатление, будто что-то существенное в этой истории еще неизвестно. Но если бы эта гипотеза превратилась в историческую истину, вопрос о том, каким путем проникали в «Вольное Слово» сведения о действовавших в России революционных организациях, остался бы все-таки таким же таинственным. По числу отведенных им строк эти сведения занимали в газете самое скромное место. Теперешним читателям «Вольного Слова» они совершенно не заметны. Но на отношение эмиграции к «Вольному Слову» или, вернее, к Драгоманову, их влияние было решающим. Если неведомые лица, доставлявшие в «Вольное Слово» сведения, хотели «возбуждать ссоры» между революционными группами или их дискредитировать, то этого они не достигли, но если в их цели входило вырыть пропасть между Драгомановым и революционерами и уничтожить, то влияние, которое Драгоманов приобрел на значительную часть эмиграции, то этой цели — на время, по крайней мере — они достигли самым блистательным образом.

От редакции.

Так же хотелось напомнить, что на производство бумаги, красок, оборудования и этой книги затрачиваются огромные природные ресурсы и человеческий труд.

И чем бережней вы будете относиться к вещам – тем будет лучше для всех.

Также будем благодарны, если книжка после прочтения не будет пылиться дома, а вы поделитесь ей с друзьями и товарищами!

<http://goodbooks.noblogs.org>